

84Р7(2Р-4Келл)

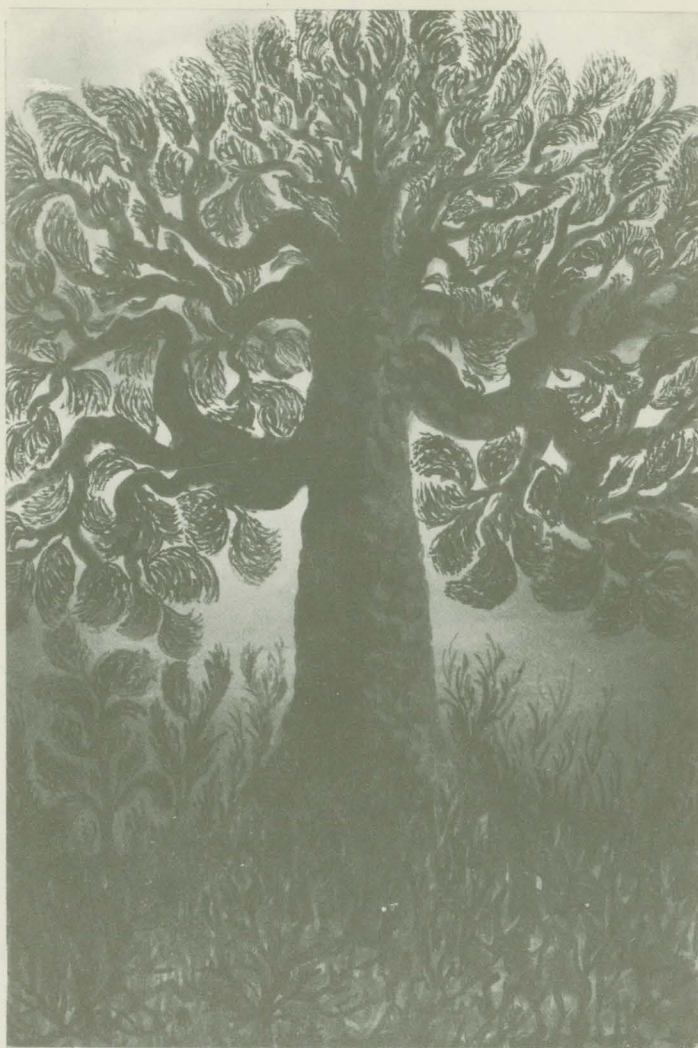
ISSN 0202—0248

6348040-38 3•1988

Май-июнь

ОГНИ
КУЗБАССА





И. П. Еременко. Сосна. 1986 г., бум., акварель

№ 3 (101)

Год издания 40-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

8497(2Р-4Кем)

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ —
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

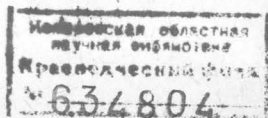
В НОМЕРЕ

Редактор	ПРОЗА	
Виктор БАЯНОВ	Владимир Мазаев. Арестантский удар. Рассказ.	3
Редакционная коллегия:	Екатерина Дубро. Осенняя сказка	25
Сергей ДОНБАЙ	Николай Толкачев. Волосы Вероники Дроздовой. На- учно-фантастический рассказ	49
Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ	СТИХИ И ПРОЗА	
Валерий ЗУБАРЕВ	УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА	
Владимир ИВАНОВ	МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ	
Николай КОЛМОГОРОВ	Татьяна Белокурова. Стихи о маме. О любви и долге.	
Владимир КУРОПАТОВ	«Живу на селе...» Стихи	14
Владимир МАЗАЕВ	Андрей Правда. «Июль...» Вечер. Старая пластинка.	
Владимир МАТВЕЕВ	«Славный день!» Стихи	15
Валентин МАХАЛОВ	Сергей Подгорнов. «Холодный свет дотронулся несмело...»	
[отв. секретарь]	«Я шел дорогой через лес...», «Темнело...», «Что же—из земли сырой...». Стихи	16
Зинаида ЧИГАРЕВА	Геннадий Шемелин. «Давно я не был в «Коммунаре»...»,	
Геннадий ЮРОВ	Металлург. «Он страшен был...», «Люблю я зимнее ка- танье...». Стихи	17
	Дмитрий Клестов. Старый плотник. Какое счастье — ма- тушка жива. Кержаки. Стихи	18
	Валерий Костин. Жужелица. Рассказ	19
	ПОЭЗИЯ	
	Александр Катков. «Концентрат и краюха хлеба...», «Ты встал пред богом за мои грехи...», Васена, «Я вернулся в цветенье отцовского сада...»	23
	Тамара Страхова. «Отрази меня, жизнь», «Мыла жен- щина окна в доме...»	47
	Сергей Побок. «Я эту землю полюбил...», «Полово- дые на Томи. Гроза	48
	НАШ СОВРЕМЕННИК	
	Владимир Куропатов. Седьмое чудо	55
	ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!	
	Николай Кузнецов. Земля взаймы, земля без отдачи	61
	Василий Попок. Казанковская хроника	68
	ПАМЯТЬ СИБИРИ	
	Любовь Никонова. Кузнецкий венец	73
	ИСКУССТВО	
	Александр Казаркин. «Чувство первичности». (К 70-ле- тию Василия Федорова.)	80
	Зоя Естамонова. Корни	84
	ПОЛЮСА СМЕХА	
	Борис Кобзарь. Престижная профессия. (Монолог в оче- реди). Идеал	88



390586

Кемеровское
книжное
издательство
1988



Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 26-88-48, 26-85-14

Рукописи
не возвращаются.
Перепечатка рукописей,
принятых к публикации,
за счет авторов.

Ведущий редактор
Т. И. Махалова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректоры
Е. И. Тимошук,
В. А. Лузина

На первой стр. обл.:
И. П. Еременко, Ручей.
1982 г., бум., акварель.
На четвертой стр.
обл.: *И. П. Еременко,*
Озеро-лебедь, 1984 г., бум.,
акварель.

НАШИ АВТОРЫ

Мазаев Владимир Михайлович, родился в 1933 году в селе Васильчуки Алтайского края. Книги его рассказов и повестей выходят в нашей стране и за рубежом. Заслуженный работник культуры, член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Дубро Екатерина Владимировна, родилась в Тяжине Кемеровской области. Автор многих сборников рассказов и повестей, вышедших в Кемеровском книжном издательстве. Член Союза писателей СССР. Живет в Юрге.

Катков Александр Иванович, родился в 1950 году в деревне Зайцево Ставропольского края. Окончил Лейпцигский университет в ГДР. Автор сборника стихов «Синие ставни» (Кемерово) и коллективного сборника «Утро» (Москва). Живет в Кемерове.

Страхова Тамара Алексеевна, родилась в г. Купино Новосибирской области. Окончила Кемеровский университет. Ее стихи публиковались в городских и областных газетах. Живет в Ленинске-Кузнецком.

Побокин Сергей Сергеевич, родился в 1945 году. Закончил горный техникум. Его стихи публиковались в газетах и в коллективном сборнике «Молодая гвардия». Живет в Анжеро-Судженске.

Толкачев Николай Иванович, родился в 1927 году. Горный инженер, работает на шахте «Распадская». Публиковал рассказы в газетах. Живет в Междуреченске.

Сдано в набор 11.04.88. Подписано к печати 17.06.88. ОП00013. Формат 70X90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 6.435. Усл. кр.-отт. 7.166. Уч.-изд. л. 8,01. Тираж 7000 экз. Заказ № 2285. Цена 45 коп. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

О 4702010200—30 88
М 145(03) — 88

© Кемеровское книжное издательство, 1988

АРЕСТАНТСКИЙ УДАР

РАССКАЗ



I

Новый театральный сезон открывался спектаклем «Провидение». Все билеты были проданы.

В день открытия, придя в театр задолго до спектакля, чтобы еще раз, по установленному самому себе жесткому правилу, без режиссера и партнеров проговорить, проиграть один из важных монологов, Кутергин внезапно обнаружил: текст стал на глазах как бы литься, безбожно сыпаться. Давно найденные в поте лица и уже проверенные на зрителе жесты и интонации обескровились. А заключительная, прежде полная внутреннего достоинства фраза героя: «Я убью его, ибо он давно убил меня крайней степенью моего унижения...» — теперь фраза эта своей фальшью прямо-таки застревала в горле.

Сперва это расстроило его, немного погодя — испугало. До первого звонка оставалось всего ничего. Из гримуборной он ушел, малодушно скрылся в заваленный будафорией закуток в тупике темного коридора, сел там, но не сиделось, стал нервно ходить, то и дело больно запинаясь обо что-то угловатое, торчащее. Его начало даже потихоньку лихорадить — уж не заболел ли часом?

Здесь-то и нашел его каким-то чутьем уже малость впаавший в панику помощник режиссера.

— Толя, ты чего? — спросил он свистящим шепотом, сверля Кутергина глазами. — Ты чего... здесь?

— Сам не знаю... — пробормотал Кутергин, отворачиваясь.

— Заболел, что ли? — слегка струсил тот.

— Да не то чтобы... но — понимаешь... У помрежа затряслись щеки.

— Так — какого?! — закричал он и, выругавшись облегченно, побежал рысью в сторону сцены. Кутергин помедлил минуту и потащился следом, стиснув зубы, каждой клеткой ощущая, что приближается к какому-то своему пределу.

...Полтора месяца назад он, актер областного драматического театра, молодой, подающий надежды, вернулся с летних гастролей, которые прошли весьма успешно. Он был занят в четырех спектаклях, в трех из них на ролях второстепенных, почти эпизодических, а в четвертом — на заглавной. Эта-то заглавная роль и принесла ему первое серьезное признание.

В бухгалтерии он получил зарплату и премию, сумма сложилась приличная. Пятнадцать рублей сразу отделил, спрятав в пистончик, остальные оставил в бумажнике и в отличном настроении вышел на улицу. В киоске спросил газету. Сегодня, как пролетел по театру слух, должна быть рецензия, посвященная их гастролям. Газета эта еще не поступила, но, по словам киоскера, поступит вот-вот. Кутергин решил зайти в расположенное неподалеку кафе «Льдинка», там подождать. Даже неплохо это — побыть одному, сосредоточиться, поразмышлять о будущем,

еще раз мысленно пережить свой успех.

Настроение было отличным, чуть ли не праздничным и потому еще, что перед самым завершением гастролей он получил приглашение сняться в кино.

Он заказал два коктейля с пикантным названием «Пикантный». Помешивая в фужере соломинкой, огляделся. Было еще далеко до полудня, кафе практически пустовало. За столиком возле окна три девчонки-школьницы хихикали и трещали наперебой о чем-то жутко личном, давя лихорадочно в металлических вазочках колобки фруктового мороженого. В дальнем углу сидела супружеская пара, оба ковыряли ложечкой такие же фруктовые колобки, но только молча, сосредоточенно, будто выполняли малопривычную, но необходимую для здоровья процедуру.

Из-за пластиковой перегородки, возле которой сидел Кутергин, из служебки доносились голоса.

Еще в училище Анатолий Кутергин взял себе в правило развивать наблюдательность — как-никак, будущая профессия обязывала. И он действительно был наблюдателем, тонко и остро подмечал детали, всякие характерные человеческие штришки, особенно в те минуты, когда помнил, что ему надо быть наблюдательным, вот как сейчас.

Именно подлинного чувства, глубоко пережитого им самим, не хватало ему при работе над последней большой ролью в спектакле «Провидение». Ролью, надо сказать, острой, драматичной, характерной. Режиссер устало-раздраженно вбил ему: страдай, мучайся, но ради бога, не играй страданий, не играй страстей, а буди их в себе, живи, пропитывайся ими. Вы же с героем ровесники, вам обоим по тридцать. Забудь его, играй себя!

Легко ему сказать: буди! живи! пропитывайся! — усмехнулся Кутергин, крутя на свет фужер цвета крепко заваренного чая. — Как разбудить то, чего сам в жизни не испытал даже отдаленно. А именно: великой драмы плена. И возможности

выжить, вырваться лишь ценой крайнего, чудовищного унижения. Ни больше, ни меньше!

И ведь он сыграл эти страсти! И, должно быть, крепко сыграл, правдиво — поверил зритель, поверила, кажется, даже скудоумная местная пресса, да и режиссер вынужден был признать, что он «ухватил нечто», не преминув добавить тут же, что на репетициях получалось гуще, забористей. Вот зануда...

О кино он мечтал издавна — болезненно и тайно. И вот мечта осуществляется. Ему предложено сняться в роли, чем-то близкой той, которую он играет в «Провидении». С одной стороны, это слегка огорчало: эксплуатировать однажды найденное?.. Гм... Но с другой — имитировать ощущение киногероя, скажем, свалившегося вдруг с лошади, гораздо легче, убедительней, нежели имитировать того же свалившегося с лошади, но только на театральном сцене, где лошадь и не пахнет. Он, конечно, упрощает, но это для доходчивости. Только подлинные вещи способны вызвать подлинную правдивость чувств, тут и к цыганке ходить не надо...

Уже допивая второй коктейль, он стал присматриваться к пожилому супругу в углу. Сумел бы сыграть этого человека? Вот так, просто: слопать на сцене колобок мороженого, молча, сосредоточенно (именно фруктового, за тринадцать копеек!) — и зал смеется! Самый драгоценный для актера смех. Ибо зал часто смеется не потому что смешно, а потому что правдиво...

II

За пластиковой стенкой голоса усилились. Разговаривали двое — мужчина с четко выраженным акцентом и женщина. Кутергин невольно прислушался и вскоре понял: речь идет о каком-то вагоне яблок, которые стоят три рубля килограмм, а мужчина предлагает по два. Короче, идет махровая торгашеская сделка.

Некоторое время спустя мужчина, при-

родный брюнет, и женщина, бежевая блондинка, вышли, продефилировали через зал. Оба мелкорослые, оба весело-округлые. Она — с крепким футбольным бюстом, он — с тугим джинсовым задом, будто их только что сняли с полки отдела надувных игрушек.

Решение вмешаться, сорвать жульническую сделку пришло как-то вдруг, импульсивно. Кутергин встал, быстренько расплатился, вышел следом, подзадоренный забывностью неожиданного приключения. Главное, пронаблюдать и запомнить, какое у этих прохиндеев будет при этом кислое выражение...

Нагнал он их в скверике, примыкавшем к кафе, окликнул. Они остановились. У брюнета на правом запястье болталась мужская кожаная сумочка. В такой штучке, мелькнуло у Кутергина, удобно носить свинцовый брусок, тогда сумочка превращается в кистень.

Он приблизился к ним с улыбкой и весело передал им слово в слово их застенный разговор.

— Ты, приятель, видно, перебрал с утра, иди куда шел, — сказал брюнет, и они повернулись, пошли по аллее дальше. При чем лица их оставались совершенно невозмутимыми, точно он попросил прикурить, а спичек у них не оказалось.

Любая другая реакция его бы, наверное, удовлетворила, утешила, и он бы понял: ага, трухнули, замечали икру, сделка пыхнула. Что и требовалось доказать. Но тут Кутергина заело: какая самоуверенность! Он снова нагнал их, они уже выходили на соседнюю улицу, хлопнул мужчину по плечу.

— Вы подумали, я шучу? Но вы ошибаетесь, граждане торгаши.

Брюнет приподнял свою сумочку. Кутергин напрягся. Он владел некоторыми приемами самбо, спасибо Виталию Эрастовичу. Брюнет дернул молнию и вытащил плоский, уже слегка початый бутылек коньяка «четыре звездочки», протянул этому наглому пристава.

— Слушай, дорогой, приложись, взбодришься и расстанемся приятно, а?

Глаза его при этом сдержанно усмехались, никакой психолог даже на самом дне их не обнаружил бы тени смущения или хотя бы легкого, мимолетного испуга, на что Кутергин так рассчитывал.

Он твердым жестом ладони отвел протянутое:

— Поберегите, пригодится!

Мужчина переглянулся со своей спутницей, недоуменно выпятил губы, они опять пошли. Кутергин двинулся следом, он уже завелся. Хорошее настроение, с которым он вышел из бухгалтерии театра, сидел в кафе, его не оставляло: только примешалась легкая горечь обиды, уязвленности — реагируют на него, как на докучливую дворовую псинку, не более.

Они подошли к ресторану, поднялись в зал, заняли отдельный столик. Он вошел следом, тоже сел — поодаль. Подозвав официантку, спросил, кивнув в сторону пары «надувных» (так он их окрестил), не знает, кто такие? Официантка странно как-то, озадаченно посмотрела на него, сказала, что нет, понятия не имеет.

Брюнет, оставив женщину, вышел из зала, через три минуты вернулся, стал распечатывать принесенную официанткой бутылку «игристого». Сделку обмывают, ну прохиндеи.

Некоторое время спустя к столику Кутергина подошел милиционер, в погонах старшего сержанта. Кутергин вопросительно поднял взгляд на стража порядка. Круглое лицо, белесые ресницы, нос пуговкой. Тот козырнул коротко, чуть склонился, сказал тихо, даже как бы участливо:

— Гражданин, пройдемте.

— Куда? — не понял Кутергин.

— Пройдемте, гражданин, там разберемся.

Кутергин пожал плечами, поднялся. Они спустились по лестнице, вышли на улицу. На все попытки выяснить, куда он его ведет и, главное, за что, сержант только отмалчивался.

Они пришли в участок, о чем извещала табличка на двери, которую сержант стал открывать ключом.

Расположен был участок в коммунальном доме, в секции первого этажа. На площадке в позах долгого, терпеливого ожидания стояли двое, по всему виду — муж и жена. Она — худенькая, скуластенькая, и какая-то вся блеклая, застиранная, он — вислопечий, в спортивной рубашке с олимпийскими кольцами, толстыми, как баранки. На руках мужчины была девочка, спала, уткнувшись ему в грудь. При появлении сержанта лица супругов, как по команде, приняли одинаковое выражение — покорной и тупой надежды.

— Здравствуйте, — поздоровалась первой женщина, мелко кивая, — а мы, товарищ участковый, опять к вам.

— Ну и зря, — кинул через плечо сержант, работая ключом в замке, который заело. — Я же вам, Белоуски, неоднократно русским языком разъяснял: не могу я удовлетворить вашу просьбу, не положено. И чего вы сюда ходите?

— Так как же... — заикнулась было женщина.

— А вот так. — Сержант пропустил Кутергина и захлопнул за собой дверь, оставив супругов на площадке.

Он сел за конторского вида стол, сдвинул с потного лба фуражку, обнажив подавленный рубчик. Внимательно посмотрел на Кутергина, его рослую фигуру, моргая короткими белесыми ресницами.

III

Кутергин, еще не принимая ареста всерьез, тоже смотрел на участкового, стараясь оставаться наблюдательным. Он уже отметил привычку того часто, мелко моргать. В школе, помнится, процветала у них игра: махнуть неожиданно перед «физией» приятели и, если моргнет, — щелчок по лбу, «за испуг»! А если нет — получай сам. Вот бы с сержантом сыграть, сразиться. Я б ему нащелкал! Правда,

шибко уж лобик узенький, попасть трудно...

— Что же вы, гражданин, вроде интеллигентный с виду, а к людям на улице вяжетесь, с шантажом пристааете? — сказал сержант. — Некрасиво получается.

— Я — с шантажом? — Кутергин рассмеялся, хотя его царапнуло от этих небрежно-уничтожительных «вроде» и «с виду», а скорее оттого, что его в своем родном городе, кажется, не узнали. — Кто вам это сказал?.. — И его вдруг осенило. — Те двое, надувных? Да это же прохиндеи чистой воды.

— Еще и оскорбляете. Зафиксируем. — Сержант выдвинул ящик стола, достал оттуда чистый лист, ручку.

— Да нет, — Кутергин сдержанно улыбнулся, — вы бы послушали сперва, раз уж на то пошло...

— Фамилия?

— Кутергин... Анатолий Сергеевич, — сказал Кутергин, хмурясь. За те несколько лет, которые он после окончания московского театрального училища прожил в этом областном городе, он часто выступал на телевидении — и в спектаклях, и в литературных передачах, читал стихи, рассказы местных авторов, был ведущим рубрики «Клуб творческих встреч». Его на улице, в автобусе часто узнавали, здоровались с ним, особенно женщины. Над известностью этой он в приятельском кругу подшучивал — и вполне искренне — как ему казалось. Но сейчас отчетливо то самолюбие было уязвлено.

— Я слушаю. — Записав анкетные данные, сержант снял тяжелую фуражку, стал протирать платком клеенчатый изнутри ободок. Кроме привычки мелко, попоросячи, моргать он, оказывается, склонен был к обильному потению. Замечательная деталь.

В дверь, не переступая порога, просунулась блеклая женщина.

— Товарищ участковый, войдите в положение, мы с мужем со смены отпросились...

— Закройте! — тоном приказа потребовал сержант.

Дверь покорно закрылась.

— Значит, как все было, — сделав над собой усилие, проговорил Кутергин. — Сижу в кафе «Лыдишка»...

— Сколько выпил?

— Да не пил я. Там днем не подают. Коктейль пил.

— Коктейли разные бывают.

— Коктейль «Пикантный», — сказал Кутергин подчеркнуто. — Два раза — устраивает?

— Меня устраивает одно: чтобы вы... — участковый скосился в листок, — Кутергин, вели себя как подобает. — Он снова надел фуражку, тщательно выровнял козырек. — Итак, сидим в кафе, пьем коктейль «Пикантный». В котором, между прочим, наличествует ликер... Дальше?

Кутергин терпеливо вздохнул.

— Сижу, за стеной разговор. Слышу вот как вас. О вагоне яблок. Яблоки три рубля, а мужчина этот... брюнет, предлагает по два. Понимаете? Вагон!

— Вы его прежде видели?

— Да откуда?

— Продолжайте.

— Они вышли через зал, я за ними и сказал, что слышал весь их торгашеский сговор.

— Для чего вы это сделали? — быстро спросил сержант.

— Ну... — Кутергин заколебался, — чтобы сорвать сделку... посмотреть, какие у них при этом морды. Ведь до чего обнаглели, среди бела дня...

— Стоп. Вот этого пока не требуется. Говорите: вышли. А почему уверены, что вышли именно те? Они что, когда вышли, продолжали разговаривать... о вагоне яблок?

— Ну, это глупо, — усмехнулся Кутергин.

— Что именно? — сержант мелко-мелко заморгал, словно очередь выпустил.

— Думать, что те, выйдя, будут продолжать свой сговор, — с вызывающей насмешливостью, мстительно произнес

Кутергин, уже слегка презирая этого моргающего и потеющего дурака.

— Что ж, и это зафиксируем. — Сержант наклонился над столом, ручка довольно напряженно заскребла по бумаге.

Кутергин хотел спросить, что, собственно, тот намерен зафиксировать, но все в нем вдруг всколыхнулось от возмущения. Да что я тут бисер мечу! Только что из полуторамесячной поездки, дома еще толком не был, умотался, как собака, а этот... — Он уже со злостью в душе взглянул на сержанта, который старательно, как первый ученик, писал, только что язык не высунув от старания; нос пуговкой, капля пота ползет со лба... палец с тупо остриженным ногтем, надавливающий ручку, похож на отвертку... Взглянул — и не сдержался.

— Послушай, сержант, а тебе в детстве говорили, что ты похож на поросенка?

Тот перестал писать. Посмотрел на кончик шариковой дешевой ручки. Уши его сдвинулись. Аккуратно положил ручку. Самое впечатляющее — он перестал моргать. Поднял телефонную трубку и, набрав короткий номер, сказал: «Прошу оперативную группу... Срочно». Потом встал и с застывшим взглядом пошел к дверям.

Коротким рывком распахнул на площадку дверь.

— Белоуськи, войдите!

Вернулся за стол, но не сел, остался на ногах. За все это время он ни разу не взглянул на Кутергина, будто здесь того и не было.

IV

Кутергин с недоверчивым интересом, отчего-то сразу успокоившись, наблюдал за сержантом. Так болельщик следит за разочаровавшей его командой, которая удалилась в малопонятные пока, но чем-то интригующие финты.

Вошли супруги, с тем же одинаковым выражением покорной надежды, стали робко у стены. Проснувшаяся девочка сидела теперь на руках матери.

Сержант выждал паузу.

— Вот что, Белоуськи, я выдам вам вашу справку, — сказал он значительно. — Но вы подтвердите, что этот гражданин сейчас избил меня...

Кутергин оторопел: уж не ослышался ли!

Блеклая женщина напряглась остренькими скулами, бросила быстрый взгляд на мужа, и хотя тот молчал, ей, должно быть, достаточно было и его молчания. Она закивала сержанту в знак согласия и стала опускать девочку на пол, точно уже собираясь пройти к столу «подтверждать», а девочка мешала. Муж глубоко вздохнул, и сцепка колец-баранок на груди, символизирующих спортивную дружбу, слегка удлинилась. Тогда сержант сбил с себя фуражку, рванул на плече погон и сел писать акт. На сей раз перо его резво, без остановок бежало по бумаге.

Кутергин продолжал оторопело смотреть во все глаза на эту — такую деловую, такую откровенно подлую сцену. Он еще не вполне осознавал, что ситуация начинает принимать для него скверный оборот.

— Вы что?... Да как же так можно... Послушайте! — попробовал апеллировать он к супругам, но те глядели мимо, враждебно, только девочка у их ног моргала ясными чистыми глазами. Это поразило его. Мелькнуло злобно-насмешливое — уже к самому себе: «Тоже не узнают! Так тебе и надо, дерьмовая ты телезвезда!» — Послушайте, из-за какой-то справки, бумажки... Ребенка бы своего постеснялись! — и окончательно понял: тут — глухо, тут — не достучаться... — Он повернулся круто к сержанту, все в нем клокотало.

— А ты, оказывается, не поросенок, я ошибся, ты свинья...

Сержант вскочил из-за стола и коротким тычком ударил Кутергина в сплетение. Тот всхлипнул от неожиданной боли и, недолго думая, тем же приемом, только

вложив в него всю свою скопившуюся обиду, врезал сержанту. Сержант согнулся в три погибели, закачался волчком.

Мужчина кинулся на Кутергина, обхватив сзади, заломил руки, стал давить книзу. Хватка была железная, профессиональная, что-то вроде «двойного нельсона», трещали суставы. Сержант очухался и, пользуясь тем, что Кутергин, на котором гирей висел мужчина, не мог защищаться, сильно, рассчитанно, как по груше, нанес ему несколько ударов в подберье. Жгучая, стойкая боль облила, оплеснула Кутергина живот, поясницу, он замычал. Девочка, прижимаясь к матери, заплакала в испуге.

— Знаешь, сколько тут у меня таких, как ты, проходит? — выдохнул сержант, отходя, сплевывая.

— Если бы... таких, как я, — прохрипел Кутергин, — ты бы, подонок, из реанимации не вынимался...

— Ну сейчас еще вложу, за подонка, — пробормотал сержант, оборачиваясь. Но тут входная дверь распахнулась, вошел лейтенант милиции и за ним два дружинника с повязками.

Увидев участкового с оторванным погоном, без фуражки, мужчину, заломившего Кутергину руки, лейтенант без труда разобрался в обстановке, дал знак дружинникам — увести!

Кутергина пихнули в машину, в ее железное сумрачное чрево, захлопнули с лязгом дверь, похожую на люк. При этом он сильно ушибся плечом о скамью. Вскоре машина тронулась. Было душно, отвратительно пахло кислотной, выхлопными газами. Сквозь заднее оконце он видел головы дружинников, они оживленно между собой разговаривали, кособротились в смехе — не иначе анекдоты травили, стервецы.

V

Все произошло так быстро, так ошеломляюще-унизительно, что Кутергин не

успел даже возмутиться, запротестовать, целую минуту сидел весь заторможенный, чувствуя только боль в плече, локтевых суставах и медленно, неотвратно нарастающие гулы сердца. Пронзила мысль: если он сейчас же, сию минуту не предпримет что-то, случится ужасное, непоправимое... Ладони скользнули брезгливо по изъелой до стеклянной глади скамье. Кем, черт побери, изъелой? Задами насильников и убийц, алкашей. Но он-то разве алкаш? Разве насильник и убийца?!

Он саданул кулаком в дверь. Дружинники в «предбаннике» обернулись на стук, но тут же продолжили прерванный разговор. Тогда он стал колотить беспрерывно, требуя хотя бы выслушать его. Произошла явная, чудовищная нелепость. Ведь это же так просто — выслушать человека, который не совершил ничего противозаконного. Да и не мог совершить: не та натура. У него и слова теперь для этого есть, единственные, убедительные. Зачем же его, известного в городе человека, артиста, вот так вот, руки за спину, навывом, — и в темную. В железный ящик!

Дверь-люк открылась столь внезапно, что он ударил кулаком в пустоту. Дружинники нырнули к нему в ящик, сели напротив. Это были молодые, уверенные в себе парни. Правда, оба ни ростом, ни статью не удались. У одного рысьи баки ниже ушей, у второго легкий шрам оттягивал уголок глаза, придавая ему вид азиата. Ударил первым — с баками, так что Кутергин рта не раскрыл. У него пересекло дыхание. Потом — «азиат». Но зато таким изощренным приемом, что у Кутергина все поплыло, и он свалился со скамьи на жестяной пол, успев выдать сквозь зубы: «З-за что?..»

— За сотрудника... за нарушение режима... — приговаривали они с каждым новым ударом.

Ехали долго, под конец тряско, так что когда дружинники ушли в свой «предбанник», его, лежащего на полу, продол-

жало подбрасывать, точно его все еще били, приговаривая: «За сотрудника... за нарушение режима...»

Я убью их... — думает он и впервые так обжигающе-обнаженно, сладостно чувствует истинный, первородный смысл этих слов, их могильный холод.

Машина наконец замерла. Кутергин с трудом поднялся, сел. Костюм был в грязи, под мышкой прореха, это еще от схватки с «олимпийцем». Циферблат часов — вдребезги...

Щелкнул запор, дверь откинулась.

— Выметайся.

Он сидел не двигаясь.

— Позовите лейтенанта, — выдал он.

— Чего?.. Послушай, дядя, может, каким выступить? Тебе же и без того тюрьма корячится. А если мы заявим, что ты и на нас кидался...

Он сидел не двигаясь.

— Выходи, говорят! Лейтенант ушел в отделение... Или помочь?..

И Кутергин вышел. Это было отделение незнакомого ему окраинного района. Слово тюрьма, так легко, небрежно брошенное дружинником ему в лицо, заставило что-то в нем дрогнуть.

И пока дежурный милиционер вносил в журнал данные о задержанном, до Кутергина стала отчетливо и трезво доходить вся драматичность его положения.

Стремительным шагом вошел задержавшийся где-то лейтенант, приблизился к нему, и Кутергин при этом непроизвольно шевельнул локтем, как бы защищаясь. Движение это было слабым, едва заметным, но лейтенант заметил.

— Что вы, у нас не бьют. Мы должны вас обыскать, — сказал он холодно-официально.

Кутергин взглянул на лейтенанта, на его смуглое от загара крепкое лицо с правильными чертами, на русский аккуратный чуб (такие лица называют плакатными) и так же, как недавно в ящике, ощутил болезненно усиливающиеся удары сердца под самое горло. Он едва не

задохнулся. Вот он, святой момент, толкающий человека на кровь... или на добровольную смерть!.. Дружинники стали деловито обшаривать его карманы, выкладывая на стол расческу, ключ от квартиры, носовой платок, старые авиабилеты. Достали и раскрыли бумажник. Деньги пересчитали у него на глазах, оказалось 220. Он отлично знал, что получил в бухгалтерии 315, из них 15 положил в пистончик, ими и расплачивался за коктейль. Остальных не трогал. Он понял, что при пересчете они каким-то образом выпустили 80. Но как — не заметил, и, подписывая протокол обыска, промолчал. Только слезы в глазах вскипели; он отвернулся.

VI

Здесь не было окон, зато дверь — вся от порога до притолки — была прозрачная, из толстого оргстекла, так что дежурный, сидя за своим прилавком в глубине коридора, мог без помех видеть все, что происходит в камере.

Горел холодный зарешеченный свет. На единственной широкой лавке, схожей с баннным полком, лежал небритый малый в майке и стоптанных сандалиях на босу ногу — спал. Руки широко, вольно разбросаны. На правом предплечье красовалась накладка: «Рожден для мук и в счастье не пуждаюсь»...

Кутергина одолела враз такая бешеная усталость, что он сел прямо на пол (больше некуда было), откинулся затылком к бетонной замызганной стене, зажмурился...

Храпел сосед по камере, то захлебывался могучим храпом и затихал, то вновь стремительно, как аварийная сирена, набирал силу. Все меньше доносилось звуков извне. Ходьба по коридору прекратилась. Узкое окно за спиной дежурного потемнело, на столе вспыхнула лампа, видеть по всему, перевалило за полночь.

Дежурный за прилавком был уже дру-

гой — вида пожилого, крестьянского, погоня на форменной рубашке сползали с плеч, фуражка околышем вверх лежала по-домашнему рядом, возле телефонного аппарата; время от времени он прохаживался, разминал ноги, снова садился, закуривал, разворачивал газету.

Взгляд Кутергина давно был прикован к телефонному аппарату.

Наконец он решился. Подошел к двери, завалившейся в карманах монеткой поударил по стеклу. Дежурный повернул голову. Кутергин жестами стал объяснять ему: в туалет бы...

Шагая через некоторое время под молчаливым равнодушным конвоем обратно, у прилавка с телефоном остановился, попросил:

— Разрешите домой позвонить?

— Служебный, оперативный, не положено занимать.

— Жена ничего не знает, с ума, наверное, сходит... разрешите? — пробормотал Кутергин.

— Шагаем, шагаем, — хмуро махнул дежурный.

— Ну я прошу! Два слова! — стал умолять Кутергин, уже не возмущаясь этим бессмысленным запретом, даже готовый согласиться с ним, с его бессмысленностью, если для него, Кутергина, будет сделано исключение.

Как бы подтверждая обоснованность запрета, телефон зазвонил. Дежурный потянулся, взял трубку, при этом лежащая на прилавке газета соскользнула на пол. Кутергин машинально поднял, газета была та самая. Он быстро перевернул на четвертую страницу. Взгляд сразу уперся в размашистый заголовок — «Гастрольный успех».

Торопясь, не вникая в смысл, поскакал по строчкам и уже во второй колонке выхватил свою фамилию. Лист в руках завибрировал. Проклятие, никогда прежде, кажется, собственное имя в газетной колонке не было ему так желанно. И он, тыча в страницу пальцем, стал объяснять хмурому дежурному, что он — ак-

тер этого театра и о нем тут, между прочим... да вы прочтите, прочтите!.. И все это срывающимся голосом, просительно, заглядывая тому в глаза, боясь, что не дослушает, что грубо прервет...

Дежурному такой оборот с газетой показался забавным, и он (от ночной скуки, должно быть) не поленился, полистал журнал происшествий, сличил фамилии, хмыкнул: ну и дела!..

Пододвинул к Кутергину небрежным жестом аппарат, снисходительно бросил: — Только без болтовни, граждан артист.

Жена, выслушав его сбивчивые, торопливые слова о том, где он и что с ним, ахнула и, кажется, заплакала. Он тотчас положил трубку.

Остаток ночи он провел в той же позе, сидя на грязном полу камеры, привалившись к стене.

Храпел небритый малый. Кутергин, борясь с нервной, изматывающей дремой, то и дело погружался в какие-то бредовые, фантазмагорические видения, без цвета и звука, выныривал из них, встряхивал головой. Варьировался один и тот же сюжет: он, молодой и здоровый, ведет самого себя под руку, старого и немощного... Впервые посетил его этот иднотский сон давно, еще в годы московской учебы. Тогда его разбудили ребята, соседи по общежитию, — он плакал в голос... Странное, в общем-то раздвоение. Посмеяться, рассказав кому-нибудь, и забыть. Но не рассказало никому и не забылось, вторглось вот в размягченный полусном мозг, томит душу...

Кто-то грубо трясет его за плечо, веки не поднять, будто каменные. Над ним навис небритый малый.

— Чего базлаешь? По мокрому делу, что ли? — хрипит он и грузно ушаркивает на свой персональный полоч.

Кутергин подымается на затекшие ноги, ежится, как в сквозняке, начинает ходить из угла в угол. И — накатывает ужасающая в своей ощутимой реальности мысль, что жизнь его с этого дня будет

сломана. Тюрьма, которую предсказывал ему дружинник, становилась действительностью, она уже была действительность...

VII

Утром, довольно уже поздним, когда он, совершенно отупевший от мрачных дум, продолжал мерять шагами углы, за ним пришли и повели его по длинному полутемному переходу, потом по бетонным вышарканным маршам на второй этаж, потом опять по переходу, но уже как бы в обратном направлении, — привели и посадили возле какой-то двери, велели сидеть. Путь этот представился Кутергину как начало этапа.

Он огляделся. Дверь была густо обита блестящими заклепками. В окне напротив шевелилась зелень тополей, а над зеленью сияла даль неба, особенно синяя вокруг белого одинокого облака...

Вскоре привели и посадили рядом его соседа, небритого малого. Сидели рядом, можно считать, знакомые, а говорить было не о чем. Через некоторое время пога его соседа в сандалии, положенная на ногу, затряслась, так что тоненько зазвякала расстегнутая пряжка. Кутергин спросил, кивнув на дверь в заклепках, не знает, чем тут занимаются? Сосед был мрачен, в послезапойном колотуне, поэтому объяснил коротко, но со знанием дела:

— П-пятнадцать суток клепают, п-падают...

Ждать пришлось долго, не меньше часа. В голове у Кутергина все перепуталось. Он точно оцепенел. Первым вызвали соседа. Пробыл он за дверью недолго, вышел и в сопровождении милиционера пошел куда-то, звеня, как кандалами, болтающимися пряжками. Потом затребовали Кутергина.

За длинным столом-тумбой, придвинутом к раскрытому окну, сидела средних лет женщина в строгом жакете, сбоку, за

приставным столиком — совсем молоденькая девушка в светлых брючках. Ветерок из окна слабо шевелил разложенные на столе бумаги.

В душе Кутергина что-то растормозилось. Возможно, тому способствовали показавшиеся ему миловидными лица женщины, призванных решить его судьбу, особенно той, что в жакете, распахнутое под домашнему окну, а может быть, просто отсутствие в комнате людей в милицеской форме. И он, еще минуту назад не помышлявший ни о чем подобном, стал умолять женщину в жакете (без всяких сомнений, судью) — только не пятнадцать суток! Я лишусь роли, лишусь всего! У меня отобрали бумажник, в нем договор, можете убедиться... Через неделю мне лететь на студию. Что угодно — только не пятнадцать суток!

Судья и девушка за столиком переглянулись и опустили глаза к шевелящимся на столе бумагам. Не верят? В чем-то сомневаются? Или он не то сказал? Не так?..

Он замолк, кровь густо стучала в виски. Внутри что-то мелко, гадливо дрожало.

Судья потребовала сухо:

— Выйдите! Мне надо принять решение. Ваше дело, между прочим, тянет на тюремное заключение. Вы об этом догадываетесь?

Вышел он из комнаты с холодным камнем в низу живота. Пять минут ожидания за дверью показались ему вечностью.

Приговор был: платить в течение трех месяцев по двадцать пять процентов. Ему вернули изъятые вещи, бумажник с деньгами и документами, заставили еще раз расписаться, сказали: свободен... Чувствуя полную, непреодолимую опустошенность (и ничего кроме опустошенности!), возвращался он длинными сумеречными переходами, которые казались ему еще длинней, чем утром, когда он шел по ним под конвоем...

На крыльце отделения его ждала жена, чему он не очень удивился. Взяла молча и крепко под локоть. Он не сразу заметил в стороне черную знакомую «Волгу», к которой они шли.

Из машины при их приближении вышел Виталий Эрастович, отец жены, поздоровался крепко за руку (и тоже без единого слова вопроса), распахнул перед ними заднюю дверцу. Поехали. Вел машину сам Виталий Эрастович. Год назад у него стали прибалывать глаза, и с тех пор он редко позволял себе это удовольствие — покурить баранку собственной служебной машины. Сегодня позволил.

Кутергин проснулся в угол сидения, на миг крепко зажмурился, желая как бы отстраниться, скорее отойти от всего того, что произошло с ним в эти сутки. Мягко покачивало. Врывавшийся полуденный сквознячок освежал лицо, шею. Укрытый короткими и плотными, как войлок, волосами затылок Виталия Эрастовича тоже в такт покачивался. Жена, сидевшая рядом, напряженно смотрела в окно.

Кутергина, прижавшегося в углу, словно медленно выносило из бесконечного темного тоннеля, краски и черты окружающей реальности проступали все ясней, все четче. Он подумал вдруг: чего бы им обоим молчать, не поинтересоваться даже — что, собственно, произошло с ним, почему вдруг забрали, почему вдруг выпустили. Неужели знают?.. И вот подъехали как раз к тому часу, когда выпустили... Это-то, черт добери, откуда стало им известно?..

Тормоза на ухабе скрипнули, он невольно подался вперед и на какой-то момент в зеркале над лобовым стеклом встретился с тестем взглядом. Тот ободряюще подмигнул ему, бросив: «Не сды, лягуха, болото наше!» Это была любимая присказка Виталия Эрастовича.

Он вновь откинулся на спинку сидения, поморщился. Мягкие, напружиненные по-

душки не оберегали от болевых ощущений избитое тело. Всплыли лица судейских женщин, их плохо спрятанные усмешки — вполне заслуженная реакция на его столь страстный и столь суетливый монолог, смысл которого был до постыдного прост и однозначен: не наказывайте меня пятнадцать сутками, потому что я лишился роли, а не потому что не виновен... Жалкое, должно быть, в их глазах явил он зрелище.

Ворот белой полотняной рубашки свободно облегал старчески-суховатую, слегка загорелую шею тестя. Но Кутергин лучше, пожалуй, чем кто-либо знал, как крепка и жилиста эта шея. Все свои молодые и зрелые годы тесть, по его собственным словам, отдал «оперативной деятельности». Однако в детали этой деятельности, которую вынужден был по неясным обстоятельствам в свое время оставить, вдаваться не любил. Сохранилось в нем от того времени лишь увлечение борьбой самбо. Занятий самбо (теперь уже чисто любительских) он не бросал много лет. Странная, до болезненности затянувшаяся потребность изредка «размять кости и разогреть кровь» сохранилась у него до сих пор. Приобщил он к этому и своего молодого зятя — в качестве спарринг-партнера. Однажды, когда они после разминки, приняв горячий душ, сидели позади кабин, приятно расслабленные, посасывая рыбную косточку, Виталий Эрастович признался, что в молодости он владел приемами каратэ — причем, отменно владел! Особенно ему удавался так называемый «арестантский удар». Этим ударом он мог выбить напроць двери со всех запоров. Зять усомнился было, на что тесть обронил: «Я бы и сейчас мог показать, как это делается, но — сам понимаешь — годы не те...» — и рука его, сжавшая стакан с чаем, задрожала.

Выехали на центральные улицы, пах-

нуло нагретым гудроном. Кутергин снова уперся взглядом в тестев затылок. Густая проседь вокруг макушки завивалась протуберанцем. Прежде он как-то не замечал у него этой крутой проседи и этой войлочной плотности волос на затылке. Кажется, зря он тогда усомнился...

Подрулили к дому. Виталий Эрастович, не выходя из машины, попрощался с зятем, заговорщически подмигнув ему при этом, добавил, что заедет к ним завтра, а сейчас спешит на службу. Жена приготовила ванну, белье и тоже заторопилась на работу.

Кутергин остался один и был рад этому обстоятельству.

Он забрался осторожно в ванну, лежал без движения, впитывая всем телом ласковое тепло воды...

Перед тем как одеться, он долго осматривал себя, свое тело, ощупывал, терпеливо надавливал пальцами подреберье, кривил губы. Сухими тяжелыми спазмами теснило горло.

И уже болезненно и навязчиво вспоминалось, терзая запоздало, как вскинул он локоть, когда к нему быстрыми шагами подошел лейтенант с плакатным лицом; или как подсовывал ночному дежурному газету с рецензией, вымаливая у того телефон, чтобы предупредить жену; или как, выставленный за дверь, стоял с камнем в низу живота в ожидании приговора, который был предопределен.

Странно, что зрительная память запечатлела так много, вплоть до случайного, мимолетного. Не потому ли, что на этот раз он был не наблюдателем, а участником. Помнила не память, а тело, которое били, помнили глаза, которые видели обращенную к нему несправедливость, помнили нервы, обжигаемые унижением.

...Новый театральный сезон открывался спектаклем «Провидение». Все билеты были проданы...

СТИХИ И ПРОЗА УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ



Татьяна Белокурова

СТИХИ О МАМЕ

Обмерла душа... Как долго
не привыкну я к тому,
что с моим дочерним долгом
не нужна я никому.
Ты теперь совсем другая:
над тобою — облака.
С ними тает, убегая,
неизбывная тоска.
По земле хожу — по телу,
глажу цветики рукой.
Вот теперь какое дело:
я люблю тебя такой.
И в журчании речушки,
успокоившей меня,
я услышу:
— Что, Танюшка,
знать, без дыма нет огня?
Просветленными глазами
огляжу окрест поля.
Губы шепчут, губы — сами:
— Мама, мамочка... Земля.

О ЛЮБВИ И ДОЛГЕ

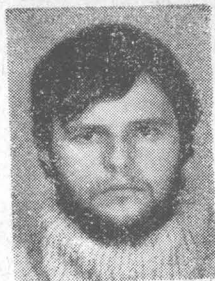
И неровно и нервно по жизни иду:
то спокойна душа, то волненьем исходит,
то так ясно и просто у всех на виду,
то теряюсь совсем. Что со мной происходит?
Ох, как в эти минуты терзаю себя,
на глотки свою жизнь в лихорадке делю,

чтоб сомненья мои, никого не губя,
увела эта ночь. Я не сплю.
Я решаю, ищу, вспоминаю все разом
и за женщиной в синем неотвязно слежу...
Мне лет десять. Деревня. Колодец. И сразу —
эта женщина в синем. Я к ней подхожу.
Эта русская нетороп, полные ведра,
коромысло, коса и кресты на воде.
И ни капли на землю, плавно и бодро,
я такую не видела больше нигде...
И все меньше, все меньше ночей покаянных,
что в глазах застывают надолго.
На душе моей крестик лежит, деревянный,
материнства, любви и долга.

* * *

Живу на селе, а суть — городская.
И к лесу, и к полю с трудом привыкаю.
Хожу по простой, работающей земле
и все удивляюсь — живу на селе.
Когда над рекою стою не дыша,
объять необъятное хочет душа.
И нету привычных, изломанных линий,
есть что-то далекое, синее-синее...
А под ногами хрустящая галька,
ящерка-тропка в крапивном лесу.
Чувства мои — тончайшую кальку —
я осторожно несусь.
Вот и село. Завалинка. Дом.
Только случается что-то потом...
Вижу во сне я балкон, водосток,
в ящике — чудо! цветок с ноготок.

г. Новокузнецк



* * *

Июль. Электрички бегут в Кузедеево.
А небо синее, и в нем облака.
Глазеим ли, спим ли, но,

что бы ни дейлось,

Все полно значенья и цель высока —
Мы едем, качаемся... За поворотом
Нас встретит лесная душистая мгла.
А там земляника и теплые соты,
Там в липовом меде увязла пчела...

ВЕЧЕР

Солнце медленно садится.
Тени тянутся и тянутся в пыли.
Речка, остывая, золотится...
Разговор,
Как тесто на неделю,
Вечные старухи завели.
В мягких недрах
Пряных сеновалов
Прячутся последние лучи,
И сверчок
В завалинке журчит,
И большая
Сладкая усталость
Распряженной битой телегой
У крыльца скрипучего
Стоит...

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Как внимательно точит игла
Эту черную с хрипом пластинку —
Будто целую вечность ждала,
Чтоб звучанье, как паутинку
Размотав, потянуть из угла
Вместе с пылью сухого тепла
И сверчком за старинной картинкой,
За комодом, за печкой, за винной
За бутылкой, не помнящей зла
В тусклой зелени сна и стекла...
«Эх, когда молодой я была,
Молодой я была и невинной...»

* * *

Славный день! Меня влечет на люди —
В толчею, где все едят пломбир,
К объявлению о приличных блюдах
В ресторане с вывеской — «Сибирь».

Не купить ли свежую газету?
За четыре чистых медяка!
Да узнавши новости планеты,
Закурить дурного табака...

Иль на лавке в сквере на припеке,
Все забыв, забросив, задремать...
И отвергнув прописи аптеки,
Просто воздух радостный глотать!



Сергей Подгорнов

* * *

Холодный свет дотронулся несмело
до губ припухших и горячих плеч.
Уже свекровь на кухне загремела,
лучинами растапливая печь.

Уже к столу прицельно потянулись,
слегка бодрясь, помятые сваты...
И шторы колыхнулись, распахнулись.
Ты вышла. На пороге встала ты.

И мать смотрела молча и дивилась,
не узнавая собственную дочь —
в глазах твоих качалась и клубилась,
и затихала, остывая, ночь.

И никому о ней ты не расскажешь,
и вся она останется в былом.
Но ты ее, счастливую, завяжешь
живым и дорогим тебе узлом.

* * *

Я шел дорогой через лес и поле,
хрустела под ногами листьев жесь.
И вот свернул.
Без горечи и боли
брожу, чужой — мои лежат не здесь.
Отметили неровные кресты
последнее пристанище людское.
Душе легко от тихого покоя
среди достойной этой простоты.
А день был малооблачен и светел.
Всем сердцем ощущая, что живой,
я видел пчел и как возился ветер
с разросшейся на холмиках травой.

* * *

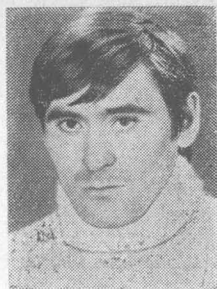
Темнело. А ответственный товарищ
один, как перст, стоял на остановке —
автобус, к сожаленью, все не шел.
Однако шел холодный нудный дождь,
и время шло.
«Наверно, позвоню, —
решил товарищ, — прямиком в гараж,
узнаю, почему не ходит транспорт».
Но автомат, сглотнув подряд две двушки,
соединить ни с кем не пожелал...
Дул жесткий ветер.
И товарищ думал:
«Два министерства завтра разгоню...»

* * *

Что же — из земли сырой,
из другого ль теста
сила эта, что порой
вдруг срывает с места?

Бросишь дом, детей, жену,
выпьешь горечь странствий,
но свою ль найдешь страну
в тридевятом царстве...

г. Анжеро-Судженск



* * *

Давно я не был в «Коммунаре»
и встретил массу перемен:
«Пожалуйста», — в унылом баре
сказал мне в бабочке бармен.
Над утонченным интерьером
из модных звуков кавардак,
у стойки к западным манерам
стремится стойкий сибиряк.
Он не свободен от пороков,
зато в мечтах — киногерой
и, потянув «коктейль из соков»,
вообразил, что он ковбой.
Красивой жизни сладок профиль,
но разгляди ее анфас —
она вошла, как Мефистофель,
чтоб душу вытащить из нас!

МЕТАЛЛУРГ

Единственное в мире чудо
Рукою Мастера зовут,
под ней бессмысленная груда
перерождается в сосуд.

Но Мастер слов моих не примет:
до суеты не снизойдет,
он шляпу войлочную снимет,
смахнет со лба горячий пот,

и, проходя меж стеллажами,
он шведлера и уголки
погладит чуткими руками,
как неостывшие горшки.

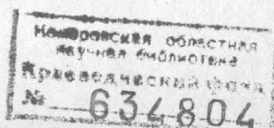
* * *

Он страшен был, железный ястреб,
Как сумасшедшая судьба,
Как раздирающая раструб
Иерихонская труба!
И под руинами застыли
Детей загубленных глаза.
И в нераскопанной могиле
Сквозь камень светится слеза...
Не верь, что мертвые не слышат,
Не верь, что павшие молчат!
Они — расстрелянные — дышат,
Сердца размеренно стучат.
Как о немеркнувшей святыне
Вещая завтрашнему дню,
Гудят колокола Хатыни
О жизнях, преданных огню.
И день, и ночь о кромку суши,
Я знаю, бьются не моря,
А жертв измученные души,
Огнем бессмертия горя!

* * *

Люблю я зимнее катанье
На быстрых санках с белых гор,
Когда творит очарованье
На солнце иней узор!
Стоят деревья без движенья,
Как бы уснувшие навек,
Но лишь одно прикосновение —
И сразу на голову снег!

г. Новокузнецк





Дмитрий Клестов

КАКОЕ СЧАСТЬЕ — МАТУШКА ЖИВА

Какое счастье — матушка жива:
Разбитым носом спрятаться в подоле.
Забуть на миг мальчишеское горе
И слушать, слушать нежные слова:
— Ну, что, сынок, пострел, мой постреленок,
Не надо плакать, горе — не беда,
Обидчик станет другом навсегда,
Лишь подрасти да наберись силенок.

Какое счастье — матушка жива!
Явиться в дом лихим военным франтом
С янтарными нашивками сержанта,
Шептать и слушать добрые слова:
«О, матушка...» — «А ты совсем большой...» —
«Ты, милая, немножко постарела...» —
«А я тебе невесту подсмотрела —
Девчонка настоящая, с душой».

Какое счастье — матушка жива.
Издалека в родимый дом вернуться,
Припасть к земле, слезами захлебнуться,
Шептать, шептать заветные слова...
Молчит. Молчит могильная трава.

СТАРЫЙ ПЛОТНИК

Он приходит сюда
По какой-то неведомой тяге
И часами, как мальчик, стоит.
Он давно изучил
В нашем сельском хозмаге
Ширпотребскую утварь,
Этот странный старик.
Он берет оселок
И шершавую каменную плоть
По шершавой щеке
Сам себе проведет,
Он берет долото
И, забывчивый плотник,
Острые долота
Языком по-старинке лизнет,
Он тисочки возьмет,
Он подержит электрофуганок:
«Лепота, лепота, —
Покачает седой головой. —
Сколько светлых домов-
Теремов несказанных
На родимой земле
Не построено мной!»
Он приходит сюда,
Как с любимой своей на свиданье,
Будоражит его
Изобильная явь.
Что для всех ширпотреб,
для него — «состоянье».
Не гони, продавец,
Старику эту радость оставь!

КЕРЖАКИ

Седобороды, но крепки
И в каждом деле очень спорые,
Меня крестили кержаки,
Как им велел обычай, — в проруби.

О, дикий прашуров обряд —
Души безвинной омовение.
А я, признаться, даже рад
Сему спартанскому крещению.

Иди распахнутым в мороз,
Пурге отчаянной не кланяться,
В любой беде не ведать слез,
В работе никогда не стариться.

Коль совесть будет не чиста
И сердце оболется злобою,
Вернусь в родимые места
И снова искупаюсь в проруби.

г. Салаир

ЖУЖЕЛИЦА

РАССКАЗ



Перед сном Василий вышел в палисадник и закурил. Папироса оказалась дырявой, не тянулась, и он, бросив ее через забор, вытряхнул из пачки другую, прикурил, загораживая ладонью ломкий язычок пламени, огляделся. Ночь легла на деревню плотно, основательно; справа едва угадывался крепкий пятистенник соседа, а дальше — ничего не видно, сплошная темень, только в самом конце улицы двумя желтыми точками затаенно светились окна какого-то припозднившегося хозяина. С недалекой отсюда реки сильно тянуло сыростью, в воздухе ходил остывший к ночи ветерок.

Приотпав окуроч, Василий пошел притихшим садом к дому, перед крыльцом остановился, запрокинул голову, оглядывая набрякшее чернотой ночное, без единого проблеска небо. Вздыхнув, он приотворил дверь низких сенцев и в упавшей на землю полоске неяркого света заметил, как откуда-то сбоку, из пробившейся у крыльца травы вдруг вывалилась крупная букашка и черно-глянцевой пуговицей шустро покатила по дорожке. Вздрыгнув от неожиданности, Василий тихоенько ругнулся, занес над букашкой ногу, но давить ее раздумал, нагнулся и подхватил ее жесткими пальцами. Она беспокойно заволилась в его кулаке, отыскивая путь на свободу, не нашла и на время притихла, замерла, будто сделалась неживой, будто надумала перехитрить человека и выскользнуть, как только тот чуть ослабит хватку. Василий усмехнулся наивной букашечьей хитрости; поса-

жу в коробку, решил он, а прибежит от бабки Володька — отдам ему, он, кажись, говорил, что им на лето задали собирать этот — как его? — гербарий.

Дома он бросил букашку в стакан и засмеялся, глядя, как она, упав на спину, беспомощно засучила ножками, пытаясь развернуться в стеклянной тесноте. Наконец ей это удалось, и она, раз от разу обрываясь, стала упорно карабкаться вверх, на волю, еще не зная, что человек накрыл стакан пачкой папирос.

На кухню заглянула жена.

— Ты долго еще будешь шепутиться? Ложись давай, утром подниму рано, так и знай.

— Ладно, не шуми, — отозвался Василий, — завтра выходной, имею полное право поспать.

— А кто за тебя смородину подкапывать будет, дядя, да?

— Подкопаю, будь спокойна. Ты лучше погляди, какую зверюгу я поймал.

Жена поглядела на стакан.

— Это жужелица, — сказала она.

— Кто? — не понял Василий.

— Жужелица. Она безвредная, отпусти, не надо ее мучить.

— Э, нет, отпустить никак нельзя, — возразил он. — Вон Володька говорил на днях, что им на лето задали гербарий собирать.

— Гербарий — это когда растения собирают, — поправила жена.

— Да? Ну и ладно, шут с ним, с гербарием, а жужелицу я Володьке отдам, она у него первой будет, а потом я ему

других букашек наловлю. Ты, мать, дай-ка лучше иголку какую-нибудь, я слышал, что их на иголку накалывать надо, к картонке пришила — вот тебе и гербарий.

Жена, не дослушав, ушла разбирать постель, и ему самому пришлось искать кусочек картона и иголку. Картонка он не нашел, зато в чулане ему под руку подвернулся пропахший пылью квадратик пенопласта.

Жена была уже в постели, когда Василий, бросив на стол пенопласт с наколотою жужелицей, стал раздеваться. Жена оторвала голову от подушки, посмотрела на жужелицу, потом на худые мужнины ноги, на которых свободно, с запясами, болтались широкие черные трусы, и, чему-то усмехнувшись, сказала:

— Тебя бы самого на эту иголку. Интересно, что бы ты стал делать?

Он, погасив свет, лег рядом, привычно потянулся к ее нагретому боку, но она резко отбросила его руку.

— Отстань, душегуб.

Он обиженно засопел, отвернулся и закрыл глаза.

Притихшая на свету жужелица в темноте очнулась и заскребла пенопласт крепкими ножками. Никогда еще ей не приходилось бегать по такому странному покрытию, очень белому, кочкастому, с незнакомым неприятным запахом. Жужелице показалось, что бежит она уже достаточно долго, но белая дорожка все не кончалась, и по-прежнему где-то там, вдалеке, смутно виднелся горизонт, где белое сливалось с черным. Она попыталась свернуть в сторону, чтобы уйти от этого все больше раздражающего ее запаха, но не смогла, словно дорожка обладала некоей магнетической силой, цепко удерживающей жужелицу в предназначенном единственно для нее желобке.

Она продолжала скрестись, наполняя большую гулкую комнату монотонным сухим скрипом. Сначала Василию казалось, что сну это не мешает, но скоро

он понял, что ошибся: скрип стал забивать равномерный стук настенных, с облезлой кукушкой ходиков. Жена заворочалась, толкая Василия локтем.

— Слушай, ты, биолог, утихомирь ее. Или проваливай вместе с ней на кухню.

— Ладно тебе, успокойся, — ответил он, — она вот-вот помрет, я же насквозь ее проткнул.

Через полчаса жена не выдержала, сдернула с него одеяло, подхватила свою подушку и ушла в другую комнату.

— Ненормальный ты, Василий, какой-то, лечиться тебе надо, — бросила она от дверей.

Он промолчал, почувствовав, как поднимается в нем ответная волна глухого раздражения, вскочил, забежал по комнате. Ишь ты, зло думал он о жене, нервная какая! Смотралась, гляди-ка, ну и скатертью дорога. Никакого понятия, ведь для Володьки же, не для кого-нибудь, вернется от бабки — вот обрадуется, а эта... чтоб ты провалилась! Вот сейчас закурю и буду курить назло прямо здесь, в хате. А то: «иди на двор и дыми там», — не фига, здесь курить буду, и ничего ты мне не сделаешь.

Василий напирал на комод папиросы, чиркнул спичкой, глубоко затянулся и со сладостной мстительностью пустил тугую струйку дыма прямо в абажур, неясным пятном зависший под потолком, но тут же одумался, быстро прошел к окну и, отдернув занавеску, открыл форточку. У окна, вдыхая потекшую в комнату ночную свежесть, он успокоился, поплевал на окурки и зашвырнул его в темноту. Притихшая было жужелица вновь заскреблась, и Василий, прислушиваясь к сухому треску, доносившемуся вроде не от стола, а откуда-то сверху, поймал себя на мысли, что он готов бросить эту каракатицу на пол и наступить ногой. «Э-э, да ты, кажись, тоже слаб в коленках, — усмехнулся он, — кому сдаешься — какой-то безмозглой букашке, которую плевком можно перешибить? Давай-ка, Василий, ложись спать и ни о чем не ду-

май, через час она подохнет, верное слово — подохнет».

Однако заснуть ему удалось не сразу. Почти всю ночь он пролежал, так и не сомкнув глаз, вставал, курил, уже не боясь ругани жены, и только под самое утро, когда сквозь запотевшие окна в комнату холодно полился серый жиденький рассвет, забылся тяжелым, скомканно-безрадостным сном. Но тут опять зашевелилась жужелица, и Василий, испуганно открыв глаза, с трудом сообразил, что это за тихое, крадущееся поскрипывание разбудило его, почудилось, что под столом кто-то осторожно, чтобы не сильно шуметь, рвет на клочки старую газету.

Темнота быстро истаявала, на дальней стене проявились ходики, а потом как-то незаметно из-за соседского забора лениво выкатилось притушенное по утру солнце, и воздух в горнице задрожал, задвигался, в строгих желтых лучах, упавших на полосатые половики, полетели, теснясь, пылинки. За стеной завозилась жена; Василий услышал, как она, заскрипев половицами, поднялась, загрохотала подойником и вышла во двор. Вернувшись, она долго разливала молоко по банкам, двигала посудой и грузно расхаживала по кухне. Затем крикнула:

— Вставай, лежень, хватит дрыхнуть! Так все царство небесное проспидишь.

Василий нехотя встал, стараясь не глядеть на стол, оделся и пошел в сад. Невыспавшийся, с покрасневшими глазами, он почти до полудня подкапывал смородину, терпеливо дожидаясь намеченного для себя часа, когда он может пойти взглянуть на жужелицу. Работал вяло, без обычной жадности на дело, словно отбывал тягостную повинность. И когда солнце, устав карабкаться вверх, зависло над дальним, плывущим в зыбком мареве синим холмом, вогнал лопату в землю и пошел в дом.

Жужелица была жива, по-прежнему скребла пенопласт, и не было видно в ее движениях усталости.

Василий опустился на стул, привалился к спинке. Связался, дурак старый, думал он равнодушно, отстраненно, будто не о себе. Но должна же она подохнуть, ведь скоро как сутки не ест и не пьет! Ведь как же она без воды-то, а? Или они вовсе не пьют? Нет, так не бывает, всякая тварь должна воду пить, без воды — крышка.

Работать он больше не пошел и до вечера просидел, не откликаясь на попреки жены, в комнате, слушал, как жужелица упрямо царапает пенопласт, и казалось ему, что не пенопласт она рвет своими крепкими ножками, а его грудь, и ему нестерпимо от этого больно, до нехватки воздуха, до головокружения больно, но подняться со стула и выйти он не мог, сил на это не было.

Сбоку, из-за яблонь, заглядывало в тесные окна низкое закатное солнце, высветляя последним меркнувшим светом старый приземистый комод, играло бликами на стекле, за которым в общей рамке лепились одна к одной фотокарточки. Край солнечной полосы захватывал и жужелицу, отбрасывая от нее на стол неправдоподобную черную тень. Василий сидел и смотрел, как эта тень постепенно удлиняется, течет по столу, скоро она упала на пол и подползла к его сапогам. И как только она стала накатываться на сморщенные запыленные голенища, он встал, тяжело прошагал на кухню, черпнул ковшом из ведра, вернулся и осторожно пролил несколько капель воды перед жужелицей.

Спроси его сейчас, зачем он это сделал, Василий не нашел бы что ответить; это вышло как бы само собой, помимо его воли, какая-то сила подняла его со стула и погнала за водой, хотя еще минуту назад он думал, что жужелица без питья погибнет, и желал этого. И теперь он стоял и смотрел, как она, замерев от хлынувшего на нее резкого, чистого запаха воды, медленно вобрала в себя одну каплю, затем вторую и третью.

Когда Василий, отнеся ковш на кухню,

вновь подошел к столу, жужелица была мертва.

Вечером прибежал с улицы Володька, и отец, подозвав его и показывая на стол, сказал:

— Это, сынок, жужелица. Она безвредная, даже полезная букашка. Держи.

— На кой она мне? — удивился сын.

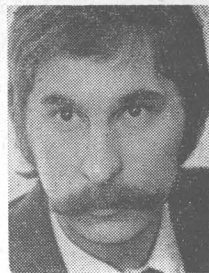
— В школу отнесешь, как пойдете. Для гербария. Я тебе к тому времени еще поймаю.

Василий сунул в руку сына квадратик пенопласта, задержался, собираясь что-то

сказать, но ничего не сказал, только естественно, принужденно покашлял и ушел. Было ему почему-то неловко, неуютно, и он с тоской подумал, что, наверное, не будет сна и в эту ночь.

На другой день Володька, окликнув из-за забора соседского пацана, обменял у него жужелицу на ружейную гильзу. Гильза была новенькой, недавно стреляной, отливала на солнце маслянисто-тусклым зеленым светом, и если к ней принюхаться, то еще можно было уловить слабый запах жженого пороха.

Александр Катков



* * *

ВАСЕНА

Концентрат и краюха хлеба.
Ах, как все-таки жизнь хороша!
Я читаю Горбовского Глеба,
и с девятого этажа

грусть бросается вниз головою,
подтверждая уходом своим,
что проходит само собою
все на свете, как боль и дым.

Все проходит на праведном свете —
одичанье и сонм потерь.
Все минует меня, кроме смерти,
но об этом ли мне теперь?

Ночь прошла. Да было ли горе,
если в зимние окна мои
вновь врывается воздух горный
воскрешения и любви?

Вот он, воздух, ворвался и хлынул
и обрушился, как поток!
И я делаю первый, длинный,
обжигающий небо глоток.

И опять без орбиты круженье
начинает планида моя.
И опять начинается пенье
общежитского соловья.

И тревожным был год и веселым,
жутким, как удар палаша.
А казачка, бой-баба Васена —
как чертовски была хороша!

Были кратки свиданья за банькой
да в оглядку за десять дворов,
потому как миленочек в банде,
чуть светает — и будь здоров.

Эту банду в расход запишут.
А она не уронит слезу,
чуть живого миленочка Гришу
будет прятать от ЧОНа в лесу.

А потом закопает украдкой,
где ни ворон, ни черт не сидит,
снова в хутор вернется с оглядкой
и дитя в той же баньке родит.

Память крови — ужасная сила,
нет, наверно, ужаснее сил.
Когда немцы пойдут на Россию,
в полицаи уйдет ее сын.

Но воздастся снова сторицей
и отродью и, главное, ей.
И еще проживет она тридцать
долгих лет среди добрых людей.

Никогда не забуду на свете,
как, ссутулившись у окна,
и страшней и уродливей смерти,
дожидается смерти она.

* * *

Памяти сына

Ты встал пред богом за мои грехи,
звончечек мой, последняя отрада.
Как страшно там,
в том царствии глухих,
где нет ни справедливости,
ни правды.

И здесь черно. И здесь просвета
нет.
Уходит май, как жизнь твоя,
на убыль.

Не для тебя весь этот
черный свет —
не потому ль ты сжал упрямо губы?

Конец весны. Какие холода.
И коли так, и коли нет повтора,
ты там не просыпайся никогда —
иначе мир свихнется от укора.

Ему и так приходится брести
с погоста спотыкающимся нищим.
Конец весны. Торопится могильщик.
Конец всему. Прости меня, прости!

Как душно на земле и в небесах,
и вечность липко мне течет за ворот.
Но губ твоих черемуховый холод
никак не тает на моих губах.

* * *

Я вернулся в цветенье отцовского сада.
Божья милость моя,
мои слезы со щек!
Если завтра умру —
ничего мне не надо,
только б видеть наш сад
напоследок еще.

Кем я прожил до этого в сирой юдоли?
Сыновей хоронил, голосил, мельтешил.
Но прояснилось вдруг среди погостов
и боли —
я еще эту жизнь до конца не свершил.

И теперь я вернулся в цветение сада,
справедливость моя —
я дождался тебя!
Неужели уже и тебя мне не надо,
раскричав,
разорвав напоследок себя?

Но ведь торкнулись в сердце
и стали занозой
мои стылые, горькие ночи мои?
Ты прости меня, жизнь,
мои строки, и слезы
отреченья,
и все же крошечной любви!

Я побуду, уйду,
но и все же, и все же,
как пчела, что трудилась меж яблонь
и груш,
я останусь в саду напоследок
пригожим
для отпущенных
и отпущаемых душ.

ОСЕННЯЯ СКАЗКА



1

Провожала Анну до троллейбуса. Анна ухватила за Надеждин рукав, за черный мохнатый свитер. Холодно уже. Уже по листьям, по листьям... Сбивчивые Аннины каблукы, сбивчивое дыхание.

— Надя, ты, правда, не обиделась?

— Не за что, — терпеливо ответила Надежда. — Работай спокойно, переписывай свой сценарий.

— А ты?

— А я, напоминаю тебе, служу на телевидении, фильмы же снимаю в свободное от этой службы время. Что, дел у меня нет?

— Надя, но я не могу уже оставить, как было. Когда открылись новые глубины!

— Анька, довольно.

— А ты?

— А я схожу в отпуск. Тоже подумаю. Аня, твой номер, беги! Не переживай, все нормально!

Потемочной улицей вернулась домой. Маетно, маетно. Посидела на Аннином месте, закрыла и убрала на подоконник принесенную Анной коробку конфет. Коробка узкая, строго оформлена — темная, в серебристой рамке: репродукция сумрачной врубелевской «Царевны-Лебеди».

Потом полистала «Эфроса». Нет, не читалось. Фильм... Беда: распадется съемочная группа, соберется ли в другое время, а вдруг фильм законсервируют бог весть как надолго...

Пошла раскладывать постель и делала это тщательно. Переделалась в ночную сорочку. Постаралась ощутить приятную прохладу тонкого шелка, нарядную расцветку, затейливый фасон. Старания эти и хлопоты удерживали на поверхности маеты, у самого краешка. Сейчас краешек обломится и...

Зазвонил телефон. Опять Никита? Тапечка? Томышев?

— Слушаю.

— Надя, здравствуй? Узнаешь?

— Господи, ну конечно. Здравствуй, Слава. Ты откуда?

— Из «Мечты», неподалеку от твоего дома.

— В ресторане?

— Ну. Хотел зайти к тебе. Но уже поздно, да?

— Никогда не поздно! — торопливо возразила она. — Заходи!

— Тогда я иду?

— Только не звони в дверь — бабуля проснется.

— Я кину в окно орешек.

Голос близкий-близкий, но интонации... Некогда он, позвонив, говорил так: «Это я. Здравствуй». А спустя годы уже так вот — на вопросах, осторожно: «Здравствуй, Надя? Узнаешь?»

Звякнула кроватным пологом, сдернула с плечиков халат с белыми цаплями — цапли вспорхнули и осели на Надежде волнуемой стаей.

По черному оконному стеклу щелкнул орешек — вышла в переднюю: дверь ото-

мкнуть и ждать, когда Слава поднимется. Вот он, махом через две ступени.

— Здравствуй, — еще раз, шепотом, извиняющаяся улыбка.

— Здравствуй.

И не маета уже, а веселое смятение, на краешке покоя.

— Ты в командировке?

Сели друг против друга, улыбнулись.

— Когда я у тебя был в последний раз? Год прошел?

— Мы с тобой, Слава, встречаемся так, словно триста лет впереди.

— Не говори. Побеспокоил я тебя? Ты недовольна?

— О чем ты говоришь! Есть будешь?

— Уже поел. Очень плотно.

— А чаю хочешь? Кофе?

— Ничего не хочу.

— Ну, конфеты. — Раскрыла перед ним коробку на кресельном подлокотнике и отошла. Он взял одну из пластмассового гнездышка, встал, подошел.

— Давай пополам, а?

— Не ем сладкого.

— А я ем.

Тут он углядел в ее буйной темноволосой стрижке белые прядерги.

— На-дя, ты погляди на себя, погляди на меня, Надя: стареем?

Она улыбочиво покивала — увы! — а он вернулся в свое кресло.

— Ведь и ночевать у тебя останусь.

— Где же тебя укладывать?

Он похлопал ладонями по подлокотникам.

— Намаешься. Что же не позвонил раньше? Приготовила бы раскладушку. А сейчас доставать грохотно, соседка проснется и уже не уснет. Раскладушка — в передней, на антресолях.

— Мне часов в семь надо идти на перхват.

— Кого?

— Одной дамы из заводоуправления. От ее благорасположения зависит наш заказ. Встречу ее по дороге из дому.

— С подарками? Или как это у вас делается?

— У нас делается по-всякому. Но у меня так обходится.

— Обаянием?

Он улыбается:

— Может, жалеют? Молодой, а с лысинкой: видать, не от радости. А сейчас скажу: позарез надо, ждать не могу, сынишка заболел.

— Правда, заболел?

— Нет.

— Тогда не говори.

— И перехватят нашу резину другие.

— Пусть. Скажешь так — взаправду заболел сын.

Улыбался, а был невесел. Или утомлен? Потом уже молчал, разглядывал картонку с врубелевской Лебедью.

— Помнишь Пушкина? «Сказку о царе Салтане».

— Эта лебедь оттуда?

— А помнишь, как обращается она к царевичу Гвидону? «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Так чему же ты опечалился, Слава? Резину не дают?

— Дадут.

— Что же тогда? Или устал? Укладывайся. На мою постель. Я посижу, почитаю. Утром приготовлю вкусный завтрак и разбужу вовремя.

— Ну да. И так ворвался средь ночи. Нет, останусь тут. — И потянулся. — Ты ложись, ложись, Надя, спи...

Включила за пологом розовый фонарь, а верхний свет погасила. Гость оживился.

— Вот теперь хорошо.

Поговорят — помолчат — подремлет он — опять поговорят.

— У тебя есть снотворное? — спросил.

— Нет.

— Ты хорошо спишь? Счастливая.

Ну, и дальше так: поговорят — помолчат.

Оказалось, оба гипертоники.

— Хочу уехать куда-нибудь подальше, — сказал он. — Где никто меня не знает и я — никого. Но куда примут с таким давлением?

Бедствие века — сердечно-сосудистые заболевания. Примета времени — человек в цейтноте: внутреннее в разладе с внешним. А лекарства всем одинаковые...

— У нас на заводе мужчина повесился. И почему? Молодой, жена. Чего не хватало?

— Вероятно, смысла в жизни.

— А ты знаешь, в чем он? — быстро спросил Слава. Даже с надеждой как бы. Ответить промедлила, и он сказал: — Я смысла не вижу.

— В чем?

— Во всем. Зачем все это?

— Затем, наверно, чтобы догадаться все же, ЗАЧЕМ. Живем — и догадываемся.

— Включи «Маяк».

Включила.

— Эти американцы... Того и гляди, война начнется. Тебе спокойнее: у тебя детей нет. — И через минуту: — Прости, не то сказал. Ляпнул, не подумав.

— Ничего. Ты прав: спокойнее.

Надеждина трехлетняя дочь Катенька погибла в автодорожной катастрофе: вывозили из садика детишек за город на дачи, в большом автобусе...

Своих детей у Надежды больше не будет. Чужого ребенка взять? Горевали, колебались. Но вскоре обнаружили: она и Володя, муж, не могут оставаться вдвоем, без Катеньки... Володя уехал...

Слава ни о чем не знает, давно было.

Музыку «Маяк» передавал скучную.

— Действует на нервы. Выключи.

Выключила.

Сколько поводов, тем для бесед необходимейших, а она — обходит, помалкивает. Выжидает. Чего? А если не встретятся больше?

Но так всегда: сожаление, досада на себя, чувство жалости и вины, прощальные настроения вспыхивают после. Когда уже поздно, когда опять и опять упущена очередная — и всегда единственная! — возможность. Вспыхивают, горят долго и болезненно, на время пережигая другие настроения, интересы,

заботы. Всякий раз потом отстраиваться заново на том пепелище.

И такое чувство: опять опоздала с чем-то важным!

Но вот Слава здесь — и спокойно, легко, улыбочиво. Кажется, не вспыхнуть больше пожару?

Ну, и наконец главное.

Да, спросила она с умыслом. Однако — ничуть не предполагая, какой невероятной вероятностью завершится этот улыбочивый ночной разговор.

Но то уже потом.

Тогда же умысел ее был однозначен и прост: «детские» вопросы проявляют наши взрослые сущности безошибочнее вопросов «взрослых».

— Слава, — предложила она, — давай предположим, что ты временно замещаешь... ну... создателя, скажем так.

— Всевышнего? — уточнил он.

— Да. Все в твоей власти. Как бы ты использовал свои сверхвозможности? Какие сотворил бы преобразования в жизни вообще и в своей лично?

Он развеселился:

— Я? Всевышний? Никогда в голову не пришло бы.

— Слава, ты. Ну-ка? Можно растеряться, но ты подумай, а когда-нибудь поговорим.

Но он и сразу, недолго думая, поимел желание, а именно: чтобы не стало ни начальников, ни кладовщиков-снабженцев — все на равных. Вопросительницу такое пожелание обескуражило.

— Слав, в самом деле, что ли?

— Да.

— Но что начальники? Их же мало. И не радость — быть начальником. Сплошные хлопоты и ответственность. Прояви к начальству милосердие, Слава!

Второе желание потенциального обладателя вселенскими возможностями оказалось и того мельче: роскошная вилла, жизнь в довольстве, жизнь — наслаждение.

— И не работать?! — ужаснулась во-просительница.

— Не работать.

Впрочем, согласился, что без дела скучно бы. Уточнил: без любимого дела.

— Кстати, кто бы содержал твою роскошную виллу в порядке? Надо полагать, не ты сам?

— Разумеется, — барски ответствовал трудяга Славик.

— Ничего себе — «все на равных»! Ну, да пусть. А теперь скажи, пожалуйста, какими благами от своих щедрот оделил бы меня? Что подарил бы своей старинной приятельнице? По знакомству, а?

Ответил, не задумываясь:

— Все, что только пожелала бы.

— Значит, полная моя свобода желать? Спасибо. Я тоже подумаю. Но и ты на досуге вернись к этому, ладно?

— Я бы упал в обморок.

Короче, вопрос остался открытым.

2

День провела деловой, спокойный. Едва не поссорилась с завлитом, но это не в счет.

С телестудии неожиданно попала в ресторан: Томышев Владимир Сергеевич. Не настаивал, когда она отказалась, опустил голову и молчал. Она согласилась. Он остановил такси, и помчались.

Вечерний город расцветал — утеплялся огнями, добавок к дневной пестроте светлых, осеняющих деревьев вдоль бульваров и улиц.

— Что с тобой? — спросил Томышев. — Что вдруг?

— Не вдруг, — ответила она.

Нет, судьба привычек не меняет. Просто жилище огромное, не сразу заметишь, с какого угла займется пламенем.

В ресторане «Мечта» их, оказывается, ждал заказанный столик, и уже готовились вкусные блюда, охлаждалось во льду шампанское. Сияли люстры, и оживление, шумы ресторанные, как всегда, вновь пообещали нечаянный праздник,

который вот-вот — и который, как всегда, так и не состоится. Вечерние иллюзии люстровых огней.

— Надя?

Что же, с шампанским гореть веселее.

— За что? — спросила она.

— За мою новую сонату.

— Поздравляю. Рада за вас. Как называется?

— А вот прослушаешь ее и назовешь.

— Спасибо. Но я... могу ошибиться.

— Тогда ошибся, стало быть, я сам.

Ох, рядом полыхало чужое жилище, а она всегда лишь присутствовала, лишь зрительница праздная...

Но пока — просто разговор.

— Ты не согласна? Для тебя это не предложение?

— Пожалуй, нет.

— Стало быть, искусство — не от чувства, но от рассудка?

— От мысли, — уточняет она. — От смысла.

— Новости. От тебя-то услышать! Искусство — не от души?

Она возражает:

— Что есть душа? Классический пример: Пигмалион. Как же, ненавидя женщин, равнодушный к ним, он сумел изваять Галатею?

— А мечта?

— Об идеале? Мечта без любви? Но изваял — и полюбил. Каменную. Больше, чем живую бы. И она — ожила! Искусство оживает, когда любишь его во имя жизни, которую так познаешь и разгадываешь.

— Хм. Новости в тебе, Надя.

— К добру или к худу?

— Но ведь не это имеешь в виду — искусство ради искусства?

— Нет, конечно. Жизнь ради жизни.

— Тогда — жертвенность?

— Н-ну... не знаю. Просто способ познания и общения. Один из многих. И еще: искусство как сотворение новой жизни, но не воплощение прожитой, так сказать, вьявь. Или банальность это? Точнее слов пока не нашла.

Томышев стал разбавлять свое шампанское коньяком. Ну, ежели «северное сияние», обычным разговорам конец.

— Владимир Сергеевич, зачем? — спросила, как попросила.

— А ты — зачем?

— Что я?

— Ты знаешь, что. И ты знаешь, и я знаю. Но оба делаем вид, что не знаем. Нет, я не делаю. Ты — моя женщина. Ты знаешь об этом?

Теперь она опустит глаза и будет молчать, а он — говорить.

— Какая несправедливость: ты только родилась, а я уже двадцать лет прожил. Ты в одной жизни росла, а я в другой старел. Но мы встретились, это главное. Ты одна, и я один.

Его жилище полыхало под «северным сиянием», а ей ни бровнышка не спасти, даже руки не подать: разные жизни. Самое скверное, что сам он об этом даже не догадывался!

— Какая музыка, — сказала она. — Здесь уже другой пианист.

В уже притемненном зале ожидание праздника — или горя? — завершалось последним переходом к нему: музыка.

Пианист на маленькой эстраде, как из жизни совсем посторонней, как вестник, как заклинатель. И все затихли, слушали все. А хрупкий пианист, словно бы обжигаясь, вдруг отдергивал руки от клавиш — и снова и снова отважно кидался в пожар звуков.

3

Возможно, основной истории многое из всего этого касается лишь едва. Основная же история — тот ночной, с умыслом вопрос, оставшийся открытым. Но до следующего события прожиты две недели. Наконец, как установить основное и косвенное в такой истории? Видимо, всему происшедшему нашлось в ней место. И чтобы проследить закономерности, важно не пропустить ничего. Даже — недоду-

манного «Пигмалиона». И Марию Павловну.

— Надюша, — сообщила взволнованная Мария Павловна, — вам звонили весь день!

— Кто?

— Не отзывались. А через час звонили снова.

Потом взволнованность загадочными звонками была погашена другим происшествием: сбежал кот. В форточку. Со второго этажа! Надежда кинулась разыскивать, потом успокаивала Марию Павловну:

— Вернется.

Все подобранные — ими обеими — котята и щенки на попечении Марии Павловны, только финансирование Надеждино. И поиски, куда бы пристроить транзитников, тоже общие.

Мария Павловна, соседка по квартире, пенсионерка, бывшая учительница. Человек горячей заинтересованности во всем. О кино же знала, как говорится, все и немного больше. Скажем, о павильонных съемках, когда и снег не снег, а соль, нафталин или мыльная пена. Надежда не любопытствовала, откуда такие познания. Главное в Марии Павловне взаправду главное — умение сопереживать. В том числе — происходящему на экране, вне зависимости от того, настоящий там снег хрустит или искусственный.

— Вот! — вскрикнула она чуть ли не одновременно с телефонным звонком. — Бегите скорее!

Они чаевничали в кухне. Надежда побегала.

Звонил Никита.

— И весь день с антрактами, — тоже ты?

— Нет, не я. Танечка меня бросает.

— Не выдумывай.

— Надя, а все из-за безумной Анны!

— Не выдумывай, Кит.

— Зачем она переписывает сценарий?

Мы с Танечкой так разбирались в этом, столько предположений выстроили, что в итоге рассорились.

— И помиритесь.

— Нет. Вскрылись такие подтексты... Надя, звоню из автомата, а тут очередь. Требуют кончать.

— Кит, завтра встретимся! — успела крикнуть она, и гудки отбоя.

Вот ведь как.

Никита с Танечкой — ее ведь судьба, Надеждина. Так же, как она у них — тоже судьба.

В первом ее фильме, по рассказу Бунина «Муза», они сыграли тоже свои первые роли. Никита — выпускник театрального училища, а Танечка отыскалась в научной библиотеке. К Бунину же Танечкино отношение — трепетное.

Второй и третий фильмы, все короткометражные, уже по Аннинным сценариям, сознательно ориентировались на их, Никиты и Танечки, исполнительские возможности, душевные качества.

А у них возникли особенные отношения. Возможно, не возникли бы, будь Танечка тоже из актрис. Но произошло удивительное: жизнь сыгранная, из воображения перенесенная в повторенный перед кинокамерой жест, в показанные кинокамере — и всем — чувства, вышла за кадр и продолжалась въявь.

Возможно, и поэтому Надежде нужны только они. И у нее появились фильмы, а у них дочь Варвара, тоже необходимая — сама по себе и в фильме.

Это замечено было, прессой в том числе. Рассматривалось, ну, если не как новость, то все же как нечто любопытное, со множеством предположений. Одни и те же мужчина и женщина, без грима — в разное время, в разных жизненных обстоятельствах, с разными характерами. Тогда — корень единства, корень обобщения? Ребенок?

Собственно, не так ли оно в действительности: вариативность внешняя, в зависимости от времени, возраста, обстоя-

тельств, ценностных ориентиров — при неких неизблемых основах.

Вот выявить эти основы — главное. А также — возникновение перемен, протекание чувств и взглядов во времени-жизни, переход душевных состояний: начало и конец, который — тоже начало.

Маргарита Терехова, Надеждина любимая актриса (после Танечки, разумеется!), однажды в «Кинопанораме» сказала о важном для нее моменте зарождения чувств, отношений, мысли. Сказано было по поводу фильма с ее участием «Дневной поезд», но относится ко всему искусству, к литературе тоже.

Ну, и музыка. В ней-то вообще все, что только есть и что может быть.

В Надеждиных фильмах скупо говорят, зато много музыки. И тоже зрительские дискуссии: музыка «чужая», не специально к фильму написанная, но уже известная — классическая и современная. А так не принято. Стало быть, режиссерский прием. Прием — что толкующий? Что все с человеком уже происходило, но все повторяется? Или?.. Или?..

Томышев Владимир Сергеевич, чья музыка нежно и светло — и горько! — звучала в первом ее фильме, чья музыка определила и восприятие самого фильма, он сказал:

— Пусть мы с тобой разошлись в некоторых взглядах... или точнее сказать, в ожиданиях и надеждах. Но напрасно ты отказалась от сотрудничества.

Возможно. Зато Никите с Танечкой «готовая» музыка помогала. И какие возможности! Подбирать музыку к образу, а после жить в ней — созвучно, диссонансом ли: в зависимости от сюжета и интуиции — в зависимости от жизни развивающегося чувства. Когда Танечка шла, веселая и счастливая, по весенней солнечно-ручистой улице... нет — когда ее несло счастье, — этот долгий переход в кадре звучал Паганини, каприччио номер 6 — контрастом (контрапункт!). И все уже было понятно, дальнейшие диа-

логи можно опустить. Музыка редактировала сценарные тексты.

Работа же с «живым» композитором, увы, осложнена по множеству причин: тут и время (после), и несовпадение тех самых ожиданий, и другое. В томышевской музыке непременно прослышится спор с Надеждой, несогласие, а это привнесение отразится на фильме, поэтому лишнее.

— Мы эгоисты, — говорит Никита.

Танечка возражает:

— Не мы эгоисты, а Томышев. Его музыка оспаривала мою героиню. Новые краски? Несомненно. Но не до неузнаваемости же! Он женщину не понимает.

— Он ее понимает, — возражает Никита. — Но в идеале. Она пока не дотягивает.

В общем, так: если не Томышев, из «живых» композиторов, то и никто другой. Он бы разобиделся.

4

Ну, а дозвониться до нее в тот день не мог Слава. Из своего города. Дозвониться хотел непременно, но к вечеру утомился хотеть. Отложил до следующего выходного: авось прибавится событий.

События происходили. Чрезвычайные. Во-первых, заболел сын. Это напугало. Совпадение совпадением, а неприятно: выходит, отец предупрежден был, да не внял — и сын болен вразравду! Ладно, выздоравливает, а то бы... Однако — наука.

Во-вторых. Стал замечать у себя на заводе должностные перемещения: то одного начальника снимут, то другого, а то сразу двоих. Контролеры и всякие комиссии оживились, кладовщики забеспокоились — и тоже пошли увольнения, в иных случаях даже с привлечением к уголовной ответственности! Что это? Тоже совпадение? Пусть не в точности, потому как назначались новые начальники, но тем не менее...

Надо переговорить с Надей, хотя бы

просто так. Поговорить — как постоять на твердыне среди общего вдруг колебания.

Но как же заколебалось-всколыхнулось, какие новые события грянули до следующего выходного!..

Зато Надеждина жизнь споткнулась, и время потекло в обход как бы — осязаемо и необратимо. Так чувствовалось, хотя на самом деле не было: движение вглубь — тоже движение. Что иное, как не оно, состояние, именуемое «остановиться — оглянуться»? Даже если остановка вынужденная.

Анна уехала на дачу, телефона там нет — будет работать, одна. Не побеседуешь. А пробные разговоры до отъезда прояснили лишь одно: прежняя линия одной из их тем — «женщина и мужчина» — меняет направление. Другой угол: от любви личной, частной, скажем так, и от просто социальной окраски — до постановки темы в масштабе космическом, с выходом в сферу сосредоточения всех взаимоотношений, в том числе, разумеется, творчества.

Ну, а такие выживания чем полезны? — исподволь в мозгу любой отчаянный вопрос всесторонне рассмотрится.

Вот проснулась Надежда однажды — и засмеялась: оказывается, в случае Никитова решительного несогласия новый актер рядом с прежней Танечкой воспримется новостью: иное смысловое решение! Новые возможности, значит.

А когда умывалась, продолжала обдумывать эту новость, и та — развивалась: Никита не откажется спеть за кадром старую свою песенку «Когда тебя нет». Его прежний голос и прежняя песенка, когда Танечка вот она, но уже не прежняя... Тоже деталь!

Ну, и довольно. Будет, как будет.

Но это «однажды» выпало, оказывается, на особенный день. Можно даже

уточнить: суббота, двенадцатое сентября. Полдня в тумане, но солнце пробилось-таки.

Тот день она провела дома — у телевизора: надо писать дневник телепередач, дежурная по студии.

Звонил Томишев:

— Наденька, Наденька. Твое имя меня обмануло, да? Не моя ты надежда? Вдруг понял это и испугался... Ну, скажи мне: «Володя, ты дурак»? Молчишь... Надя, кажется, не дождусь тебя в гости? А сонату проиграть тебе хочу очень. Прислушаешь по телефону?

— Да, Владимир Сергеевич.

Там, на другом конце провода, трубка оставлена у улья — и сонату Надежда прослушала...

Музыку словами не расскажешь.

Настроение же томишевское — передалось. Что предчувствовала и прятала, теперь почувствовала и поняла — четко и спокойно: никого-то не ошастливила, нет. Никого. И своей Галатее тоже нет.

5

Некогда девятнадцатилетняя Надежда, студентка-практикантка, в составе съемочной ТВ-группы отбывала полуторанедельную командировку в молодом, перспективном городе.

На автозаводе съемочной группе рекомендовали Славу в помощники — вместо аварийно, по случаю аппендицита выбывшего из строя электрика. Слава исправно помогал. Тоже девятнадцатилетний, тоже студент (вечернего политеха), с отсрочкой в армию. Высокий, спортивный, не очень красив. Молчаливый. С достоинством. То-то же больно — того достоинства уже не видеть.

Когда времени мало, знакомству суждено либо остаться на внешнем, приветственно-деловом уровне, либо стремительно пройти все стадии глубинного развития. Что и произошло.

Но и последующий Надеждин жизненный опыт подтвердил тот, вступительный:

не случайно встретившиеся люди не узнают друг друга лучше за длительное время, нежели за краткое. Даже наоборот!

Взаимный интерес. Кто, опять-таки, знает сию механику? Любовь Ивановна, светотехник, тогда напомнила Надежде:

— Общие интересы — вот что основа. А какие интересы у Славика? В чем-нибудь хоть совпадаете?

Надежда пожимала плечиком, улыбалась: какая разница, если так молоды, если повстречались друг другу во внимательный миг! Общие или иные интересы — это ведь потом узнается: вторично.

В том городе текла тихая река, с каменистым, но обширным пляжем, зато на островах, куда они уплывали, песок был — курортам на зависть. И черемуховые, боярышниковые заросли. И высокое небо с задумчивыми белыми облаками. Ток прохладной воды, те облака — ощущение надежной, всему, длительности и прочности.

— Что за книга у тебя в сумке?

— Вот. Шекспир.

— И охота такую древность?

— Древность?! Ты послушай... вот! — «Пред бедствием бывает так: божественным чутьем мозг человека предчувствует опасность».

— Правда, предчувствует?

— Смеешься?

— А я тонул и ничего не успел почувствовать. Даже хорошо стало. Значит, не бедствие бы — мне утонуть, а?

— Когда тонул? — испугалась она.

— Давно.

— Как это было? Расскажи! А это что за шрам?

— Оттуда же. Тонул человек, я спасал. Там коряга вросла в дно... Не хочу вспоминать. А что еще у Шекспира?

— Все, что есть в человеке.

— Все-все? Ну, например?

— Не знаю, чего ты ждешь.

— Что вспомнишь сразу.

— «Что быть должно, то будет». Джульетта.

— Та самая?
— Та самая. А что читаешь ты?
— Ничего. Ничего не соображаю — о тебе думаю. И завидую тебе: ты-то читать можешь.

— Как ты это... нехорошо, неправильно сказал.

— Наверное, от дурных предчувствий. Когда тонул, не было их, а сейчас — есть. Почему?

— Не скажу.

Возил на моторке в приречное село к родственникам. Там у него свой сарай имелся, большущий, а в том сарае строился, кто бы подумал, — дельтаплан.

— Где же здесь горы?

— Есть холмы. Вполне приличные. Там, за леском.

И не успели они осмотреть сараюшные тайны, как там уже толпились мальчишки.

— Дядя Слава, а вы надолго? Поработаем, да?

Режиссер Виталий Андреевич о Славе отозвался так:

— Слабый человек.

— Это как понимать? — заинтересовалась Любовь Ивановна.

— А так: либо сломает его женщина, либо укрепит.

— Женщина?

— Ну, возможно, не она. Иным словом, личные взаимоотношения с окружающим.

Надежда не утерпела, возразила:

— У всех эти взаимоотношения.

Разговаривали на гостиничном балконе, при вечернем тихом дожде. Надежде вот-вот уходить: Слава назначил время и место. А назначая, ждал пять минут, потом уходил, не оглядываясь.

Виталий Андреевич объяснил Надежде:

— У всех. Но не у всех столь первостепенны.

— Почему же? У всех, по-моему.

— А дело? Любимое. Есть у него такое? Чтобы, если что, всегда вытянуло на берег.

— Не знаю. Он мастер на все руки, сами убедились.

— Но еще не убедились, в ладу ли руки и душа.

Виталий Андреевич был человек контрастов: стареющий, некуряще-непьющий, неизлечимо больной, в быту незаметно-тихий — на рабочей площадке зоркий, четкий и взрывной. Разговаривать же с ним влекло, кажется, всех: без приобретений уму и душе не остаться. Кетати, любовь к репортажу у Надежды — от него же. Зажигаешься невольно.

— Что может репортаж? — спрашивал. И отвечал: — Все может репортаж!

Усталые глаза под тяжелыми веками — вот что вспоминается Надежде...

Тогда, на гостиничном балконе, Виталий Андреевич оспаривала и Любовь Ивановна:

— Надюша, не верь: Славик не из ломающихся. И женщины в его жизни вряд ли... Вы, друзья, знаете ли, что у нашего Славика есть жена?

Никто не знал.

— Именно: жена. Ждет ребенка. Я видела их в магазине. И видела, как он с нею обращается. Небрежно, я бы сказала. Даже со стороны заметно.

— Слава не женат, — возразил оператор Ткаченко. — Я дома у него был.

— Тем более. Дополнительный довод моей правоты: женщины ему не в рок. Это им как бы не сломаться с ним.

Добрейшая Любовь Ивановна тогда, кажется, о Надежде заболталась? Так сказать, от обратного.

Сама же Надежда ошеломительное известие выслушала достойно: ни одного вопроса не вырвалось. И на встречу со Славой не опоздала.

Да, женщина была. Которую в жены брать не хотел.

— Нам даже разговаривать с ней не о чем!

— А раньше было о чем?

— И раньше не было. Но раньше и тебя не было.

Дождь в тот рано смерклый вечер лил,

как в первый и последний раз. Вечер растворился в ночи, а дождь остался — довысказаться, доказать, упорный и безнаденный.

Они сидели в укрытии — у оконного проема в строящемся доме. Вдалеке город мерцал расплывчатыми в дожде огнями, там Любовь Ивановна первничала, курила и время от времени включала ночник, чтобы попытаться читать своего любимого Тютчева. Утром она выругает Надежду и расплатится. А Надежда тоже расплатится, и так получится, будто за компанию, от своей вины: обеспокоила, не явилась вовремя, ввела в ночной страх.

— Хоть где тебя найду, — сказал Слава.

А что искать? На виду и на слуху: ТВ, край один. Правда, уезжала доучиваться, на режиссерские курсы.

В последний их вечер Слава спросил — злой, с жестким взглядом, жестким голосом:

— Так что прикажешь мне теперь делать?

— Женись.

— Повтори!

Она сказала:

— Я-то не спрашиваю у тебя, что мне делать.

— Сказала бы: не дорос до ваших кругов. Шекспира не читал!

В тот вечер они от гостиницы не отходили, оба неприступные и чужие. Хотя в таком состоянии она пребывала, что рыдать бы, да не плачется, — настолько тяжело.

— Значит, прощай? — спросил он.

— Да.

И он ушел. Не оглядываясь. А она — уехала.

Спустя несколько лет из студийной проходной ее вызвали: некий мужчина спрашивает, приезжий-де. Она сошла в проходную. Слава. Полнейшая неожиданность.

— Я в командировке. Вспомнил вог. Любопытно.

Весьма независимое объяснение. Одет

тщательно, как и в юности, даже с шиком. Прежний Слава. Провела его в студию, через полчаса начиналась запись ее передачи.

Потом повела его домой — ужинать.

— Ну, и как тебе, интересно было?

— Еще бы. — И расспрашивал о профессиональных «секретах», слегка поднаживал. Ну, как в юности.

— А муж у тебя есть? К нему ведешь? — Это уже в подъезде.

— Мужа нет.

— И не было?

— Был. А ты? Женат?

— Само собой.

— На ком?

— На ком ты велела.

— Такой послушный? Кто родился?

— Сын.

— А кто еще?

— Тут с одним бы сладить.

Нет, на неудачника похож не был, нет.

Но Виталий Андреевич не ошибся. Только это прояснилось постепенно, исподволь. И все-то их встречи теперь так осознаются: каждая — как мимолетная остановка после очередного дальнего перехода, с возрастанием усталости. И вот уже совсем другой человек. Другой?

— А я попиваю, — признался однажды.

— Зачем?

— Так. Скучно.

— А выпьешь — веселее?

— Да. Главное, не так... безнадежно.

— Тебе неинтересно жить? Работать?

— Да как тебе сказать. Слишком много летит на ветер. Выхолост происходит.

— И невозможно противостоять?

— Ну тебя, Надежда. Если повсеместно такое! Будто не знаешь. Будто и вы не подхалтуриваете?

— Ну уж, не обобщай.

— Молчу и так. Навыступался. А выпить у тебя есть? — Разулыбался: — Не бойся, я свою меру знаю.

— Что ли, и сейчас скучно стало?

— Да нет. Просто не по себе.

— Выпить нет. Лучше сходим в один интересный дом, а?

— Не-ет, Наденька, лучше я к родичам пойду, баньки пора. Это вы, богема, а мы...

— Бессовестный ты, Слава: «мы», «вы».

— А не так?

И как бы между прочим пробормотал сонно:

— Меч подними иль подними меня...

Цитата, между прочим. Из Шекспира! Такая вот деталь.

Но прошлого — не касались.

Но пожары — вспыхивают-таки. Потому что — не подняла?

Потому что — не подняв человека, тем самым заносишь меч над ним?

Слава, доведись взаправду тебе замечать Всесильного, мне ты предоставил бы все, что захочу? Так вот, захотела бы трех исполнений. (Три — с детских лет, из сказок, волшебное для сознания число.)

Во-первых, чтобы войн в мире не было. Совсем.

Во-вторых, чтобы воскресли мои Катенька и родители.

В-третьих, быть с тобой рядом. Зачем? Оберегать, искупая вину своего отсутствия в твоей повседневной жизни.

Потому вина, что сам ты, может, и не знал, что тебе надо, с мужчинами такое чаще, чем с женщинами, случается, но я-то знала. Догадывалась. И ушла жить сама по себе.

А сейчас? Господи, ну зачем тебе вилла, Славка?! Миром владеешь! Бесконечностью!

Я виновата. Женщина всегда виновата. В жизненно важном, решающем...

6

— Сумерничаете? — В комнату заглядывала Мария Павловна. — Хоккей смотреть будем? У меня или у вас?

Хоть Марию Павловну не огорчать... К хоккею она питает пристрастие, но одна «болеть» не любит.

— У вас, — выбрала Надежда. Чтобы оставить непотревоженными в своей комнате музыку и свое новое настроение.

И это все длится тот особенный день — двенадцатое сентября, суббота, полдня в тумане, но с солнцем во второй половине.

Хоккей с девятнадцати ноль-ноль до двадцати одного часа. СССР—ЧССР, полуфинал. Наши выиграли, но Дроздецкого «уложили», Мария Павловна приняла валерьянки. Отличился Шепелев. Дважды промазал, зато потом разыгрался: шайба за шайбой...

День длился.

Позднее Мария Павловна вбежала встревоженная.

— Надя, радио слушали? Нет? Я сейчас не поняла: кого в Тегеране убили? Мне послышалось, самого Хомейни!

Совместно дождались повторения последних известий. Не аятолла Хомейни убит, а его сподвижник. Во время молитвы на площади, взрывом.

— Когда же им дадут жить мирно? — Мария Павловна ушла к себе, шаркая тапками; вторично принимать валерьянку.

А ночью позвонил Слава.

— Что случилось? — испугалась она, потому что он молчал.

— Случилось. Но что, не знаю сам. Может быть, знаешь ты?

— О чем ты, Слава?

— Ты должна знать. Потому что все, как ты говорила в нашу последнюю встречу. Я или с ума свихнусь, или ты объяснишь.

Произошло следующее: на Славу свалилось крупное наследство! От родственника, о котором не ведали. Впрочем, мать говорит, у покойного отца, кроме двух известных братьев, был третий, но в юности рассорились-расстались. И война прошла, а не искали друг друга.

Итак, иронией судеб пали человеку деньги и недвижимое имущество в виде особняка — вилла? — в приморском город-

ке А. В обморок человек не упал. Надо туда выезжать, принять наследство. Нынешний отпуск еще не отгулян, в отпуск и едет. На днях. Более того, предложил ехать вместе.

Она не поверила.

— Я за тобой заеду, готовься. — И разговор был окончен.

Славин голос нынче неузнаваем — интонаций напряженных, отрывистых фраз. Ну, еще бы! Однако — и уверенность, твердость. Как в той далекой юности.

Понятно, почь предстояла уже не для сна. И если Слава полагался на ее — несуществующие! — секреты, то самой Надежде полагаться не на что, лишь попытаться более-менее логично обосновать случившееся. Так: с заглавной буквы, ибо явно же из ряда вон обычных, повседневно-мелких совпадений.

Возможно, так произошло вот почему.

Возможно, каждому человеку и живому существу вообще выпадают в жизни особенные мгновения — созвучности Пространству: когда твои частные чувство и помысл не канут, не растворяются во времени-пространстве, но усиленные общим, получают ОТЗЫВ. И случается это, возможно, в моменты наиболее важные (почему-либо). Хотя, возможно, не всегда осознанные.

Короче, возможно многое. И если кое-что осозналось, высветилось, надо, чтобы не загасло — и чтобы дальнейшее происходило уже в свете этого опыта.

Вот с чем застало утро Надежду. Она поняла, что шуточный тот разговор имел Волей Случая серьезное продолжение, а смысл его скрыт в будущем — возможно, самом близком.

Поняла также, что Случай этот — не ее, а Славин. Но, как сказал бы спортивный комментатор, с ее подачи. Поэтому — что?!

Поэтому быть ей рядом. Во исполнение также и ее собственного — не поэтому ли тоже! — пожелания для себя, по к Славе относящегося: быть рядом.

Когда рассвет пробился сквозь плот-

ные шторы, Надежда закатывала укладывая чемодан. Сверху, под самую крышку, стаей вспорхнули с ее рук взволнованные белые цапли на тонком шелке халата. Замок защелкнул, чемоданный ремень затянут.

Надежда погасила почник, раздвинула оконные шторы и пошла в кухню заварить себе кофе.

Потом отвезла цветы Катеньке, посидела там на скамеечке.

Потом позвонила Томишеву.

— Ты не скажешь, почему я опять не спал? И почему мне так тоскливо? И почему ты никогда не снишься мне? Приходи хотя бы в мои сны, а?

— Владимир Сергеевич, я уезжаю.

— С кем-то?

— Да.

— Насовсем?

— Нет. Покуда Анна работает. Съезжу и вернусь.

— «Вернусь». Какое хорошее слово. Теперь я понял.

— Владимир Сергеевич, что привезти вам с моря?

— Привези название моей сонаты. Это значит — вернись сама.

— Я вернусь. Анна перепишет сценарий, Танечка помирится с Никитой. А вы снова будете нашим музыкальным консультантом, да? Только не болейте, Владимир Сергеевич!

— Я постараюсь.

7

Уже и Урал проскочили, с его зеленым-зелеными речками и лесистыми горами.

— Кто ты? — спросил Слава.

— Кто хочешь, — ответила она.

— Ты меня пожалела?

— Я всегда жалела тебя. Но мне это не нравилось. Пока не поняла наконец, что иначе и не должно быть. От природы.

— Что?

— Женщине должно жалеть.

— Мужчину?

— И мужчину.

— Хм! — Мужчина был задет. Женщина улыбалась.

— Но дело в том, Слава, что большинство женщин тоже задеты: им кажется, что жалеть и оберегать надо в первую очередь их, что слабее — они.

— А разве — сильнее?

— Да.

— Хм! — И мужчина пошел курить в тамбур.

Но, скорее всего, это вообще песнопоставимо — психологии женская и мужская, их мировосприятия. Вообще не для сравнений. Ни в чем. Женщина и мужчина. Равноценные составные одной сложной формулы.

Ехали они шикарно — в двухместном купе.

— Ты скрываешь тайну, — сказал мужчина, — поэтому за тобой надо приглядывать: безопаснее.

— Только поэтому?

— Не только...

Она свои «тайны» объяснила — он слушал внимательно, но не поверил.

— Мистика, сказки.

— Тогда вернемся к реальности. Добыл тогда резину?

— Добыл.

— Ну-ка, поделись подробностями.

— Э, нет. Ни слова о работе. Или ты даже сейчас — на работе?

— Не подкусывай.

— А на всякий случай. Побаиваюсь же.

— Чего?

— Всего. Кто тебя знает, из какой ты реальности.

— Просто из реальности. И ты прав, наверное: на работе я. Потому что это неразделимо: жизнь и работа.

— Счастливая.

— Да. А ты достроил тот — помнишь? — дельтаплан?

— Я женился.

— Ну и что. С сыном бы.

— У сына другие интересы. Да и где там горы?

— А холмы за леском? Вполне приличные.

Слава пошел курить в тамбур. А вернувшись, сам заговорил о работе.

— Давно хочу спросить. Только ответ коротко. Ответ главное, без красок. Что для тебя лично твоя профессия? Жизнь на ходу и на бегу, на виду у всех, в любую погоду мотаться, куда пошлют. Днем, вечером, в выходные, свободного времени практически нет. Зачем? Ты веришь в силу этих показов, этих разговоров? Что-нибудь меняется в жизни? Ну, показали вы, поговорили, мы посмотрели, послушали — одно за другим, одно на другое, перемешалось и забылось. На студии небось тоже стирают пленки? На все разговоры не напасешься. Ну, и что?

Поезд грохотал по мосту. Прогрохотал.

— Ишь какой, — сказала Надежда. — Сам столько наспрашивал, а ответ желаешь короткий. Дашь время на обдумывание?

— Даю.

Обдумывала. Вон до того леса...

— Отвечаю, Слава. Мне хочется, чтобы мы, люди, хотели и умели разговаривать друг с другом. Слушать, спрашивать, понимать. Чтобы вовремя договариваться и вовремя делать сообща нужное. Видеть, что нас окружает, и беречь. Долгий ответ?

— Да нет, ничего. — И больше не спрашивал, а что сам думает, неизвестно.

8

В приморском городке А., зеленом и цветущем, Слава с поезда сходил снова неуверенный.

— Вдруг придем сейчас — а все фикция? Кинотрюк? Или съемки твоего нового фильма?

— Зато море настоящее. Видишь? Это главное.

Текущее пешеходное движение подхватило их и вынесло на берег. Постояли там. Море, сосны, солнце, ветер, небо: восторг. А Слава насмущен. Тогда она тронула его за плечо:

— Слав?

Тогда улыбочиво проговорила-напомнила:

— «Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит; глядь — поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный? Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Слага, что князь отвечает лебеди?

— Не помню.

— Вспомни: «Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть-тоска меня съедает — диво б дивное хотел перенести я в мой удел».

Тогда он улыбнулся тоже, но осторожно: игра продолжалась. По морю же — настоящему! — плыла белой лебедью белая яхта. Не в игре, а в жизни.

Но шальное наследство также подтвердилось. Более чем шальное! — в первом этаже особняка, за железными раздвижными воротами, голубел сверкающий автомобиль — мечта почти каждого мужчины.

Мужчина отбил жене подробную телеграмму и остался отбывать отпуск в своих владениях — пожить вольготно и роскошно да решить не наспех, как всем этим распорядиться в дальнейшем.

Дальнейшее развивалось естественно, но дивно для Славы и, иначе только, дивно для Надежды.

Слага окунулся в новую жизнь с удовольствием и безоглядно. Надежду угнетало понимание, хотя бы и частичное, происходящего. Понимание обязывало. Она боялась ошибиться, что могло — а вдруг? — как-нибудь нежелательно и круто сказаться на Славе. Совершенно новое, прежде не веданное чувство! И надо было скрывать его, дабы не встревожился Слага.

— Кто ты? — поражался он.

— Хоть кто.

— Хоть кто?

— Кто хочешь, — поправлялась она.

— А я кто?

— Тоже кто хочешь.

— Нет.

— Ты — мужчина.

— И все?

— Мало разве?

Знала ведь в нем эту неуверенность, эти сомнения, гнущие его характер и всю к сопротивляемости обстоятельствам. Тот же личный автомобиль мужчине стал потребен уже и как возмещение утрат духовных; автомобиль — это надежда на возврат общей уверенности в своих личных и общественных позициях. Ох, что же с вами случилось, дорогие мужчины? Ох, отчего так невнимательны вы, дорогие женщины?

— Нет, — отвечал Слага, — мужчина — это немало. Но все же.

— Тогда — любимый мужчина. Уже больше?

— Еще бы! — И обнимал, крепче не бывает. — Ты счастлива?

— Да.

— А раньше была счастлива?

— Была.

— А я раньше не был счастлив.

— Так не бывает. Ты забыл.

— Нет, мне всегда казалось, что мне недодано.

— Чего?

— Всего.

— Значит, неверно оценивал данное тебе.

— Как это?

— Одному завывшал цены, другому занижал. Надо пересмотреть.

— Прейскурант? — Слага засмеялся.

— Свое отношение.

— Ты все это знаешь?

— Про тебя.

— А про себя?

— Про себя не все. Например, не знала, что могу поехать с тобой. Неделию назад показалось бы невозможным. Недопустимым.

Тогда он вторично сказал это:

— Мне самому в иные мгновения кажется, что это все не наяву, а в твоём кино.

— В моем?

— Да. Как ни объясняй, а получается, ты взаправду срежиссировала эти события. Только в кино такое и так бывает.

— Как?

— Скоропостижно. Там за полтора часа чего только не происходит. А какие кадры оставить, это ведь режиссер решает? Посидит в монтажной, поработает ножницами и клеем... Сам видел, показывала.

— Славочка, в своей жизни, и сейчас тоже, все решаешь ты сам. Вот чего не забывай.

Но он опять спросил, как бы вспоминая:

— Так ты кто?

— Кто хочешь.

И это было так: хоть кто.

Например, на второй день стала его сестрой. Для женщины из соседнего дома под красной черепицей, с вишнями в саду. Женщина помогала Надежде прибирать Славин особняк, мыли-чистили, пылесосили, работы хватило до ночи.

Соседка рассказывала о бывшем владельце и насоветовала много полезного — например, пустить в нижние комнаты жильцов, это выгодно, вот бензин подорожал, жильцы с лихвой окупят и бензин и авторемонт, буде таковой понадобится.

Нет, сам Слава ни разу не обмолвился о возможности... гм, такого родства, проявил храбрость. Он даже рассердился на Надежду, полночи выясняли отношения!

Но то была ложь во имя. Во имя его же. Который на будущий год привезет сюда семью, и жене станет известно, что прежде не один здесь жил. Ну, с женою так и так объясняться, зато перед соседями хоть не быть жене униженной.

Слава рассердился:

— А если через год я на другой жежнюсь?

— На ком?

— На той, кто любит меня сейчас и кого сам люблю полжизни.

— Славичек, теперь жена полюбит крепче.

— За что вдруг? За это вот все?

— Но разве ваши желания тут не совпали? Сам говорил.

— Надечка... — И Славин голос вкрадчиво пообещал ссору. Уже!

— Нет, нет, Слава, этого разговора продолжать не станем. Поживем — увидим.

— Увидим. — Но в отместку добавил: — А правду в народе говорят: вольная жизнь у артистов? Кино оно и есть кино.

— В народе ли говорят, Слава? У артистов жизнь — не каждому вынести.

— А у режиссеров?

Она молчала.

— Я слишком далеко заехал?

Она молчала.

— Надь, но я боюсь. Что опять брошишь меня. Скажи, если бы мы с тобой... Скажи, ты можешь оставить свою работу?

— Нет, не оставляю.

— Значит, вправду, лишь сестра?

Промолчала.

Но во второй раз сестрой назвалась уже с его молчаливого согласия. Правда, до того оставалось еще полмесяца.

Съездили в своем голубом сверкающем авто в Сочи — на фестиваль политической песни. Возвращались домой ночью, чернота перед фарами отступала — и смыкалась за ними, едва отступив. Ночное радио передавало последние известия.

— Неужели не уберемся от войны? Вон какая решительная молодежь пела.

— Да. «Парни, парни, это в наших силах — Землю от пожара уберечь». Уберегайте, парни.

— Легко сказать.

— Сказали же. А вы, наши парни, часто от всех тревог ищите утешения в рюмке. На радость нашим противникам. Они там надеются: пролетарии сами разложатся, изнутри.

— Не на высоте и вы, наши дорогие подруги.

— Верно. Вот чему и уделять бы наше совместное внимание...

К слову: из своего наследства Слава перечислил крупную денежную сумму в Международный Красный Крест.

Совершили автокрузиз вдоль побережья, на ночь останавливались где попустыниее, раскидывали маленькую оранжевую палатку прямо на берегу — и грохот морского прибоя прятал тишину их сновидений в себе, как в раковине, невообразимо и надежно.

Славиным жене и матери отправили несколько посылок. Надежда сама напоминала, сама выбирала-высматривала хорошие вещи и украшения. И вновь он был озадачен:

— Надя, ты кто?

— Хоть кто, Слава.

Он загорел, забронзовел. Белые шорты и разлетайка, белый козырек, зеркальные очки-иллюминаторы.

Надежда — тоже загорелая и в белом. Густые волосы крупно волнились от влажного морского воздуха, расчески ломались одна за другой.

Красивая пара.

А в автомобильном наружном зеркальце прыгал-мелькал-проносился чудесный разноцветный мир, имя которому жизнь, имя которому праздник.

— Ну, и как, Слава? Согласен остаться здесь навсегда?

— Пока — согласен.

— И чтобы так, и только так?

— Пока — да. Но ведь еще не все?

— Чего же не хватает?

— Не знаю. Чего-то действительно не хватает.

— Может быть, слишком хорошо?

Он возразил:

— Слишком хорошо не бывает. Хорошее всегда в меру. Вот плохое — да: всегда слишком. Не согласна?

— Нет.

— Но не спорить?

— Нет.

— Почему?

— У каждого человека свой опыт, по опыту и знания. По потребностям.

Итак, концерты, кино, прогулки автомобильные, морские, горные и пешие, подводная охота с аквалангом. Книжки, свежие журналы.

К слову: на вилле подобрана была богатая библиотека. Но какую книгу ни возьми, новенький переплет раскрывается с первозданным треском.

— Деталь, а? — обратила-таки Славино внимание Надежда, не утерпела.

Однажды, пока она у палатки готовила завтрак, Слава даже искупаться забыл — так увлекся «Законом вечности» Нодара Думбадзе, едва дождалась.

— Вот видишь, — отметила опять, — какие есть книги.

Впрочем, читать любил всегда, было бы время.

— Сынишку бы сюда, — вздохнул.

— Вот и выяснилось, чего не хватает.

— Не то. Сынишка все равно будет здесь. Не то.

Японский магнитофон, вмонтированный в автомобильный щиток, предлагал им любую музыку — под любое настроение. Надежда кое-что и сама записывала, для души прислушивающейся, тихой или усталой, или забывшейся.

— Зачем? — недоумевал Слава, обнаружив кассету с Шестой симфонией Чайковского.

— Когда снова заскучаешь, Слава...

— Заскучаю? — И засмеялся. Развеселился! — Никогда. От добра добра не ищут.

— Не в вещественности же добро.

— А не материальную ли базу создаем первоочередно?

— Но во имя чего?

— Во имя духовности? И что? Что, когда я послушаю это?

— Когда прислушаешься.

— Я и сам знаю, что не все покупается. Но черт меня побери, на таких условиях я согласен и на кое-какие жертвы. Особенно, если эти жертвы неизбежны

для всех. Хоть как живи, один конец. Не так?

— Сам узнаешь.

— Уже знаю!

— Ты даже себя не знаешь.

Он великодушно позволил ей предвидеть такое, даже сказал:

— Если бы вернуться назад!.. Почему я еще и это пожелание не высказал в ту ночь? Дурак.

— Куда назад?

— В нашу с тобой юность. Чтобы сейчас мы здесь оказались оттуда, а не каждый сам по себе, из разных городов.

Разговор велся в пути по-над горами, на узко выходящей шоссе-ленте.

— Надь, а может, возможно и это?! — И подмигнул, по-мальчишески же, по-детски вдруг понадеясь.

— Тогда бы уже сказка, Слава, а мы с тобой в другой реальности живем.

Тогда он опять повторил это:

— Вдруг на самом деле все это лишь твое кино? Ты хоть знаешь конец?

— Это не кино, и конца я не знаю.

Уж скорее репортаж, подумала она. Вся эта поездка. Начиная с того ее вопроса о желаниях. А у прямого репортажа сюжет непредсказуем, конец всегда неизвестен.

9

Слава напился. Самым банальнейшим образом, в дым, то бишь до бесчувствия и рвоты. Надежда потерла пол, но до утра оставила разоренными бар, опрокинутые бутылки, окурки в салате и самого Славу в залитых вином сорочке и брюках. Утром убирала под его тусклым, хмурым взглядом.

— И это, говоришь, тоже сказка? — спросила мимоходом.

— Прости, я свинья. Не знаю, с чего вдруг. Мне не понравилось вино, запил его коньяком. Ну а дальше...

— Наоборот, очень понравилось тебе это вино. Помнишь, в ресторане?

— Разве оно?

— Оно самое.

Это во-первых.

Во-вторых.

Однажды у них собралась молодежная компания: пляжное знакомство. Люди интересные, увлеченные — жизнью и своим делом (архитекторы). Состоялся горячий разговор на всех волнующие темы, пусть не слишком точный, ибо под вино, зато по-родственному душевный.

— Кто же мы, как не родственники? — подтвердил самый авторитетный в компании — Александр.

Слава слушал заинтересованно. Черные, как ночь, глаза Александра на Славу и устремлены.

— Вдумаемся. Если, по Паскалю, Вселенная — это такой круг, центр которого везде, а окружности нигде, то и любое дерево, тем более каждый человек есть сердцевина Вселенной. Значит, что?

— Что? — как загипнотизированный, откликнулся Слава.

— Значит, выявим свои личные центры, свое предназначение. Безотлагательно!

— Сию минуту? — засмеялась Лена.

Смех сдвинул разговор с серьезного, а Славу разгипнотизировал. Тут-то Надежда отметила: Лена одна, без своего молчаливого спутника и рыцаря. Оказалось, уехал, ... поссорились. Слава отметил тоже. Или он — раньше? И на Лену они оба взглянули одинаково (так бывает с близкими людьми). Точнее, Надежда видела теперь Славыными глазами (так бывает с женщинами). Как необыкновенно хороша Лена, свежее юное лицо, длинные ресницы, а смех потаенный, а формы гибкого молодого тела бесподобны — как она двигается!.. Короче, только любоваться. Любому взгляду.

Еще короче: создавалось притяжение их взаимных заинтересованностей — Славы и Лены. Лена оглянулась на Надежду, Слава смеялся.

Надежда оставила свою чашку с чаем,

подошла к Славиной кресло-качалке, положила руки на его плечи и сказала:

— Братик мой любезный, оставляю гостей на тебя.

Он вскинулся:

— Почему?

— Забыл? Междугород на проводе. Отсюда не услышим звонка. Все — извиняйте.

— Вы брат с сестрой? — оживленно откликнулась Лена. — А мы-то, признаться, думали... Впрочем, что удивительного: стереотипы восприятия. Но как это хорошо — брат и сестра! — И опять засмеялась особенным смехом.

На сей раз Слава не только не возразил, но и обрадовался, напрягшиеся его плечи под Надеждиными ладонями расслабились.

Надежда попрощалась и ушла. До утра.

Следовало всерьез задуматься. Снова ложь — и снова во имя? Не ошибка ли? Не в опасность ли? Разумеется, так. И что-то определит по-своему, перенаправит, перекосит!

Хотя, соглашаясь на эту, с чужим мужем, поездку, Надежда тем самым соглашалась и на иные нарушения, уже неизбежные: таковы исходные условия задачи.

Исходным условием оставалось и ее собственное пожелание) — быть со Славой рядом, нести такую службу. Что и сбылось. Во исполнение загаданного им, Славой.

А сам он живет сейчас как поживется — почувствуется, ни у кого не на службе.

Ну, а изобразительный стиль, как известно, соответствует смысловой сути: закон любого художественного произведения. Жизнь — тоже.

Не только для репортажа — для жизни также элемент непредсказуемости исходен изначально.

Но чего не знала, не предвидела Надежда, укладывая чемодан по Славиному звонку, — это собственного спокойствия в такой, нынешней ситуации. Как-будто взаправду — сестра!

Значит, и надо было ею оставаться?! Без возврата к невозвратному. Всему свое время. Былые опоздания не предотвратишь, только новых ошибок наделаешь.

ВОТ ОНО. Опять виновата? А Томышев был прав? Он ведь тоже бился над этим вопросом: «кто ты?»

— Не дочь. Не жена. Не сестра. Не мать.

— Человек.

— Чушь! В каждом человеке, мужчине или женщине, его природная сущность должна быть проявлена прежде всего. Все даны отданы. Природная сущность, она же социальная. А в тебе, женщине Надежде?

— Я была — дочерью, женой, матерью.

— А сейчас?

— Работаю. Живу.

— Чушь!

— Ну, уж это слишком, — возмущилась Надежда. Позже сама вернулась к этому разговору:

— Если вы, Владимир Сергеевич, рассматриваете человека с такой стороны, — извольте. Тогда разглядите в моей работе проявление сестринского начала. Да, так. Вот именно! Почему бы и нет? При явной недостаточности в жизни именно сестер. Чрезвычайно важная служба. Мне нравится, спасибо за подсказку.

— Э, нет, Наденька. Восхождение к сестринству...

О, господи.

За стеной, во тьме крошечной, грохотал прибор.

Под утро позвонила домой, Марии Павловне.

— Надюша, я, как вы просили, записываю звонки к вам. А Владимиру Сергеевичу, тоже как вы просили, звонила сама — справиться о здоровье. С него и начну. Надя, он в больнице: сердце. Но — ничего опасного, так сказала жена. Очередной курс лечения. Далее...

Утром они встретились не дома, а на пляже. Море было пасмурное, тяжелое,

небо такое же, низкое; ветрено было.

Слава не купался, сидел на лежаке, опустив меж коленями руки; позабытая сигарета в губах давно потухла. Увидел Надежду — и сразу раскаянное лицо.

Она кинула на лежак сумку с полотенцем, присела возле. Да, про сказку уже не напомнишь. Зато сказка же и поможет. Медленно, с затаением, как рассказывают-читают детям, стала рассказывать-напоминать:

— «Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит.... Глядь — поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему».

Слава отвернулся.

— «Князю лебедь отвечает: «Вот что, князь, тебя смущает? Не тужи, душа моя. Это чудо знаю я». Слав, доброе утро. Дальше помнишь?

Он молчал.

— А дальше вот что, Слава. «Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он; море вдруг всколыхалось вокруг...» Слав, искупаемся?

— Море беспокойное, не ходи, — хриплым голосом отозвался он, прокашлялся.

Но она пошла, а он не мог отпустить ее одну. И море их тела исшвыряло, намяло, измотало: утомило-очистило. Домой возвращались веселые.

За завтраком он сказал:

— Я всегда думал о точности, для меня, твоего имени: Надежда. А сейчас уловил иной смысл: «надежда» и «надо» — очень созвучно, не правда ли?

— Правда. Но разве противоречие?

— Нет, пожалуй. Надежда — это то, что надо. Мне.

Но днем опять напился.

Нет, сначала они сидели на витражно-цветной веранде и разговаривали — под почти штормовой ливень. Ливень трещал и шумел, как гигантский кострище. Сам горел, значит, сам себя и заливал-тушил.

Тогда-то Слава повторил это — про ки-

но. Опять. Не помешало утреннее раскаянье. Или тоже искал совпадения решений с условиями задачки?

— У вас ведь тоже все просто?

— Что все, почему тоже, у кого у нас?

— У людей творчества, искусства. Небось, сами путаетесь, где жизнь, а где... кино.

В ее внимательные глаза не смотрел — лишь на темный ливень за разноцветными стеклами.

Она ответила:

— Строго говоря, да. Потому что для актеров, например, кино, тоже, и есть жизнь.

— Игра? — уточнил Слава.

— Познание. Собеседование, — уточнила она. — Сыграть можно ситуацию, но не чувства. Не продумаешь, не почувствуешь сам, не сыграешь и ситуацию. Что, тоже, всегда во имя чего-то.

Смысл то есть.

— Допустим, — уклончиво согласился Слава.

— Придется допустить, Славик. Просто у актера жизнь во множестве вариантов. На работе.

Он усмехнулся:

— Только на работе?

— Их работа — то же самое, что у тебя после работы. Ты ведь ходишь в кино? Смотришь телевизор? Читаешь книги? Слушаешь других людей?

— Но что про вашего брата рассказывают...

— Про любого брата рассказывают, кому есть охота. Но ты к чему? Помнится, мы уже вели такие речи.

— К тому, что я тоже, может быть, один из вариантов? И потом увижу все это на экране?

— Даже если и так, на экране ты увидишь мою жизнь. Посмотри на меня.

— Посмотрел. За полсуток словно бы старше стал, вот как.

— Посмотри еще. И слушай, что скажу.

— Нет, не говори ничего. Пока не говори. Я подлец.

— Ты не подлец.

— Не защищай, я знаю. Я хочу побыть один.

Она ушла тотчас. А он напился.

Когда он пьянел, глаза его пустели, взгляд словно оборачивался вовнутрь, а что за жизнь там, внутри, неведомо никому. Пристальная сосредоточенность взгляда.

— Ты кто? — механическим, «негнущимся» голосом спросил при виде ее.

Стояла, прислонясь к высокой стеклянной двери, кутала плечи в белую шелковую шаль.

— Ты — моя надежда? Или моя надежда — ты? Какое символическое имя, а? Надежка, прости меня, а?

— Слава, ты не виновен ни в чем — виновата я.

Уже не слышал: закрыл глаза, и на паркет выпал из пальцев пустой бокал, разбился, конечно.

— Не уходи, — пробормотал Слава. — А то сам я не знаю конца...

Как будто она знала!

10

Длилась вторая бессонная ночь. С огромной багровой луной в непрогляди — то скрыта за облаками, то видна.

Ночь холодная — по погоде. Ночь ледяная — по мыслям и чувствам.

Ночь невероятно долгая — по времени. Настолько долгая, что к рассвету приморская жизнь осталась в прошлом.

К рассвету подуставшую тридцатитрехлетнюю Надежду напрягало лишь одно чувство, и оно стало сейчас единственным помыслом — в эти часы и в обозримом ближайшем.

Надо уезжать — срочно, немедленно. Не уезжать — улетать! Туда, домой, в больницу. Сказанное вчера Марией Павловной вчера же и кончилось: сегодня уже иное. Надежда ЗНАЛА. Поэтому перезванивать не стала. Подтвердить сейчас свое внезапное знание означало бы риск утратить не только физические силы на не-

медленное возвращение, но и силы душевные на помощь Томышеву.

Ему смертельно плохо — и НАДО, и можно помогать, даже на расстоянии шести тысяч километров.

Мощно звучала соната — не роялем в телефонной трубке, но неведомым оркестром.

Соната звучала неделей раньше — во сне или при пробуждении. Надежда подумала даже: а ведь это тема ее фильма! С тем же названием! Но обдумывать не стала — пусть само собой прояснится.

Но нынешней ночью грянул оркестр — и она догадалась: да, так! И многое сразу уяснилось, сейчас Аннины сомнения оказались кстати: что и требуется! Даже Никитов бунт. Даже Славина растерянность. И собственное СЕСТРИНСТВО! (Пока так, другого о себе пока не знает.)

Господи, да без этой музыки фильму не быть!

Она обрадовалась и непременно бы позвонила, тотчас же, Томышеву. И тогда, мгновением позже, УЗНАЛА: ему смертельно плохо. Как если бы уже позвонила и узнала взаправду.

УЗНАЛА, что оркестр грянул к беде. Что — опаздывает она или опоздала уже. Одна надежда, звездным проблеском в черном небе: пока оркестр не умолк — успеть.

Что самое леденящее: почему же в те три желания не вошло это — жизнь дорогих людей?

Мир — да. Но, скажем, воскрешение родственников... При любых допусках любому воображению ведомо: нереально, во всяком случае, пока. А и реально бы, — сия забота не перекладывается на силы внешние, посторонние.

Зато жизнь живых людей — хотя бы тех, кто рядом, — зависит от всего и всех. И от меня лично!

Виновата. Могла ведь!..

Едва сдерживая стоп, позвонила в аэропорт. Разумеется, это наивно — биле-

ты заказываются загодя. Но сказала:

— Там человек умирает.

— По телеграмме, значит?

— Нет, по... телефону.

Ничего не пообещали. Но не улететь утром было равносильно смерти, даже страшнее — равносильно убийству. Не попытаться спасти — тоже убийство. И оно срабатывает непреложно, таковым становится, когда от близких людей.

Вот и добрые пожелания вправду бы сбывались, кабы за них отвечать. Свои слова-пожелания надо ОБЕСПЕЧИВАТЬ собственным же ДЕЙСТВИЕМ! Тоже закон вечности.

И если вам, Владимир Сергеевич, желаю здоровья, а сама уезжаю отдыхать... Кому каких только благ не желается «от души», но без собственных усилий в придачу!..

Теперь знала об этом.

И надо было успеть, пока не умолк оркестр.

Еще затемно спустилась в гараж, села в голубой автомобиль, включила магнитофон на запись.

— Слава, я все объясню потом, Слава. Если встретимся. Если ты пожелаешь объяснений. Причина моего отъезда настолько внезапна и важна, что сейчас, вслух, произносима.

Слава, я не сбегаю от тебя. Не бросаю. Я не обиделась, не рассердилась.

Но счастлив ты все-таки не был. И маешься в сомнении, и заскучал до уюта. В этакой-то райской, по-твоему, жизни! По-твоему, надо было еще чего-нибудь пожелать. Слава, пожелай! Догадайся!

Я тоже не догадалась вовремя — теперь расплата. Я не оправдала свое имя!

Прости, если обманула ненароком. Вроде как пообещала диво дивное, а не показала. Потому что и не могла. Никто никому не подарит его собственного чувства, понимаешь?

Наверное, скажешь: «Тогда это — кино». Пожалуй, и так. Не так лишь одно:

не сжигают себя люди в таких профессиях ради игры, выдумок, ради того лишь, чтобы потешить праздное любопытство зрителей или читателей.

Слава, ничего нельзя выдумать — непременно было и есть. Или будет, о чем и предупреждено «выдумкой». Если желаем, стремимся, — уже не сказка, но реальность самая явная. Только бы успеть доискаться верных устремлений, только бы не опоздать.

Вот я сейчас — опаздываю. Или уже опоздала. Нет, не знаю еще.

Но знаю: все мы друг другу в урок и надежду — для самопознания и ответа.

Ну, вот и все, кажется?

Ах, да. Когда будешь уезжать, не забудь о наших приبلудных псе и кошках — перепоручи тете Мальвине, это в зеленом доме на нашей улице. Я с нею уже договорилась — деньги на их содержание оставляю здесь, в ящичке, ты увидишь конверт.

Слава, до свидания. Уеду в аэропорт на твоём автомобиле, припаркую там, потом тебе позвонят (я попрошу).

Слава,

«ввек тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду, а теперь ты воротись, не горюй и спать ложись».

11

Домой прилетела на закате сырого дня. Сиреневое небо, сиреневые мокрые асфальты. Всквозную безлиственные уже деревья на просторных улицах.

Из аэропорта такси домчал до больницы.

Людей у приемного покоя не было — часы передач и свиданий кончились. В окошечко спросила, здесь ли Томышев Владимир Сергеевич. Да. А... в каком состоянии?

— Вы кто? — строго спросила дежурная медсестра.

— Я? — запнулась Надежда. — Коллега. Товарищ.

— Ваша фамилия, я спрашиваю.

Надежда назвалась.

— Вас он вызывал и ждет. Сейчас он в реанимации, сейчас туда никому нельзя.

— Но... можно хотя бы посидеть здесь?

— Можно. Пройдите вон в ту дверь.

Надежда прошла. Узкая комната, высокий потолок, только стулья да маленький стол с графином воды, да аптечка на стене.

— Здравствуйте, — сказала Надежда.

В комнате уже сидели — неподвижная худенькая женщина в белой кофточке и девочка-подросток с испуганными глазами. С глазами Владимира Сергеевича.

— Здравствуйте, — Надя, — отозвалась женщина. — Я ведь не ошиблась?

— Нет.

— Будем ждать.

Надежда опустилась на стул.

Гремел оркестр.

Тамара Страхова



* * *

Отрази меня, жизнь, на пороге вчерашнего лета,
Незабудкой в полях, васильками в нескошенной ржи,
Теплой веткой сирени в объятиях росных рассвета
И родившейся осенью в светлых лесах закружи.
Я в руках твоих — колос, и слово, и нота, и глина.
Что ты скажешь иль слепишь, тебе и самой невдомек,
Только главное слово из песни моей лебединой
Будет слово во славу твою. Может быть, недалеко
Тот рассвет, или полдень, иль пламень вишневый заката,
Где сойдутся два смысла в бессмысленной битве своей,
Словно на поле бранном скрестятся в ночи два булата,
И падет моя песня к подножью подрубленных дней.
И взметнет к небесам с криком резким полночная птица,
Рассекая крылами звезду на крутом вираже.
Но пока я живу, ведь со мной ничего не случится,
А когда я уйду, разве что-то случится уже?

* * *

Мыла женщина окна в доме,
Рассекала небо ладонью
На две разные половинки:
Эта — чистая, там — пылинки.
Тихо женщина напевала —
В грусть лицо свое одевала.
А по стеклам — рука полукружьем:

Оттирала мутные лужи
И зеленый весенний ветер,
И еще — у тополя ветви.
Чистой тряпкой туда-обратно,
И с окошка исчезли пятна.
Ожил мир, просветленный, радужный.
И сказала женщина: «Надо же!..»

г. Ленинск-Кузнецкий



Сергей Побокhin

* * *

ПОЛОВОДЬЕ НА ТОМИ

Я эту землю полюбил —
Вот вижу на моем пути:
Опять черемуха клубит
Морозным, нежным конфетти.

И тракторист вспахал поля.
Он закурил, о тряпку руки вытер.
Казалось, обновленная земля
Надела крупной вязки свитер.

Едва заметен серенький «Газон»,
Согретый после стужи солнцем,
Гудит, толкаясь в горизонт,
Как пчелка, в синее оконце.

ГРОЗА

Пугаясь, грешники просили,
Как повелось на Руси,
И неумело грудь крестили,
Бледнея: «Господи, спаси!»

И, жизнь припомнив вдруг родную,
Бросали свой последний взгляд
На близость окон роковую,
Где страшно молнии горят!

Но канонада умолкала,
Лучилось солнышко в окне,
И начиналось все сначала:
Шагал Петро к чужой жене.

И опять глазам открыто
Детство светлое мое —
Половодьем даль налита,
Талый снег звенит, поет.

Все Притомское Заречье
Скоро скроется в волнах.
На шесте торчит скворечник,
Но пернатых выгнал страх.

Люди, крышами шагая
Над рифленой водой,
Долго лодки ждут, скучая
Рядом с мокрою трубой.

Волны схлынули с зарею,
Веселей, мальцы, глазей:
Мужики дымят махрою,
В лужах цапают язей.

Мелко крестится старуха,
Вера теплится в глазах:
— Даст-то бог и будет сухо.
Пережили экий страх!

И на иле, как опара,
Овощ прет во все концы:
Будут скоро для базара
Помидоры, огурцы.

У соседей выше — пусто:
Овощи позднее шли.
Верил я: меня в капусте
После паводка нашли...

г. Анжеро-Судженск



ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ ДРОЗДОВОЙ

Научно-фантастический рассказ

Здравствуй, Вика!

Как ни странно, я заранее знаю, когда, где и при каких обстоятельствах получишь ты это письмо. Знаю и то, что ты отнесешься к нему как к какому-то невероятному бреду. Знаю, что ты никогда не подумаешь о том, что это письмо написал тебе я. И вместе с тем тебя удивят и крайне смутят некоторые совпадения событий, о которых могли знать только ты и я.

В своем сознании я пытаюсь оценить пройденную мною тьму времен и расстояний. Трудно поверить в невозможное и осознать непознаваемое. Именно в таком состоянии я сейчас пребываю.

Помнишь, Вика, костер в ущелье Хан-Темира и наш разговор за неделю до того, когда нам предстояло навсегда расстаться? Мы обсуждали природу странных явлений, когда человеку кажется, что событие, свидетелем или участником которого ему пришлось недавно быть, уже раньше случалось, а теперь только повторилось. Мы пришли к мнению, что человек все же обладает некоторым даром предвидения, поэтому то, что кажется ранее происходившим, на самом деле является только предвиденным. Теперь-то я знаю, что это не так. Ах, если бы я знал об этом тогда! Впрочем, это все равно ничего бы не изменило. Говорят, что человек подсознательно чувствует

минуту приближающегося конца, каким бы неожиданным он ни был. Еще говорят, что в последнее мгновение в его сознании, как на киноэкране, прокручиваются воспоминания всей его жизни. По крайней мере, наиболее яркие и значительные ее эпизоды. И не только прокручиваются, но и тщательно и объективно анализируются с подведением итогов. Я не знаю, каким образом и от кого получена такая точная и исчерпывающая информация об ощущениях последних мгновений. Думаю, что для того, чтобы ее получить, нужно, как минимум, умереть. И не наполовину, не на девяносто, и даже не на девяносто девять процентов, а на все сто. Я это утверждаю с полной уверенностью, потому что умирать на девяносто девять процентов мне приходилось, как ты знаешь, не один раз. И все же в наш век благополучия и долгожительства умереть не ново. Но как из небытия передать живущим впечатления о последних своих мгновениях?

Так вот, я должен разочаровать романтиков, поверивших в эти вымыслы. Я ничего не вспоминал. И не потому, что вспоминать было нечего. Ты не догадываешься, Вика, что бы я вспомнил, если бы занялся воспоминаниями? Нет, не балдежную студенческую юность, не вывихивание мозгов за интегральными уравнениями, не защиту кандидатской и даже не открытие сто двадцатого в природном

селепендрите, которое упорно и заслуженно приписывают мне. Другие сделали для этого в десять раз больше, но случайно прошли мимо. Просто сработал один из неписанных философских законов: дуракам везет.

Я вспомнил бы хрупкую и безнадежно оробевшую девушку, пришедшую проситься в экспедицию, отправлявшуюся на поиски мифического селепендрита в гремучие теснины Хан-Темира. А для чего бы мне ее вспоминать? Мне ведь никогда не нравились хрупкие женщины. Да это и объяснимо. Учитывая мою собственную громоздкую комплекцию. Тем более, что для тридцатидвухлетнего холостого кандидата, а в ближайшей перспективе — безусловного доктора, да еще работающего в институте, штат которого на шестьдесят процентов укомплектован молодыми, пышущими здоровьем и красотой женщинами, никогда не существовало проблемы «подхода», зато постоянно приходилось совершенствовать технику «отхода», а гораздо чаще — «ухода». Что меня заставило взять тебя в эту снежно-каменную кашу, куда я мужчин-то выбирал, в основном, по физическим критериям, из десяти одного?

Я вспомнил бы и твои, поистине легендарные ошибки в оценке и классификации минералов, и жутко пересоленные обеды в дни твоих дежурств, и расстегивающиеся в самые неподходящие моменты ремни твоего снаряжения... Я вспомнил бы и неверные блики на твоем лице, загадочном в свете угасающего костра, и твои тревожные и непонятные песни, и развевающиеся на ветру волосы, сквозь которые просвечивают звезды далеких созвездий. Я, конечно, понял, что означали и твоя робость в моем присутствии, и твоя наигранная смелость. Все это для меня было не ново. Я только не заметил, когда в моей душе вместо привычно благодушной насмешливости появилось что-то тревожно-непонятное, как твои песни. Для этого нового в моем словаре не было еще подходящего термина.

Ты помнишь, как мы возвращались с тобой в тот поздний вечер с Архаровой Гряды? Ты должна помнить. Ты поклялась помнить... Мы были вдвоем. Что-то часто стало случаться так, что мы стали выбирать одни и те же маршруты. В горах темнеет рано. Были скалы, ветер и звезды. Ветер развеивал твои волосы и уносил туда, ввысь, к снежным вершинам твою песню.

Ветер! Зачем ты ко мне
свалился с гор?

Ветер! Зачем разметал
у реки костер?

Ветер! Зачем со скалы
ты палатку сдул?

Ветер! Зачем в моем сердце
пожар раздул?

Твоя песня оказалась пророческой: ночью ветер сорвал твою палатку, ты так и не научилась ее правильно ставить. Хорошо, что она стояла рядом с моей и я услышал твой крик. Иначе ветер сбросил бы ее вместе с тобой в кипящую пену Хан-Темира. За несколько минут, потребовавшихся мне для освобождения тебя от пут и на свертывание твоей палатки, ветер выдул из наших тел все тепло.

Позже, лежа в моей палатке, ты говорила, что это страшная удача, что все так получилось. Другого случая могло не быть. У нас слишком мало времени. Ты иступленно целовала меня и говорила, что неважно, если счастье будет коротким, зато его так много. Это лучше, чем когда его мало и надолго. Ты говорила, что уверена, что мы уже встречались прежде и твоя память хранит воспоминания об этом, что все случившееся предопределено заранее, ты ждала этого и шла навстречу. Что это было — шальное фантазерство или предвидение невероятного? Ты много говорила и многому меня научила этой короткой бестолковой ночью. И были твои слова непостижимо мудрыми и феноменально глупыми в одно и то же время. Ты клялась, что ничто

не заставит тебя забыть эти минуты, ни время, ни расстояние, ни грозный космос.

«Море и небо, и суша земная, каменнотвердая!
Вас закливаю: храните сынов Филадельфа!
Ждать будет вечно, пока не погаснут

созвездья,
Пламенный мой Эвергет, тебя, твоя Вероника!»

Откуда тебе, геологиня, известны стихи Каллимаха? Утром мы снова разбрелись по горам и ущельям. А во второй половине дня с вершины одной из Трех Сестер взвилось пять зеленых ракет. Наконец-то! Все группы прекратили поиск и стали стягиваться к лагерю. В центре палаточного городка на обломке базальта сидел Ромка Топорков и вертел в руках прозрачный кристалл ярко-желтого цвета величиной со спичечный коробок. Селепендрит! У Ромки от гордости глаза вылазили из орбит. Болван Ромка, ведь в составе селепендрита — сто двадцатый, радиоактивный! Я заставил его положить кристалл на лежащий рядом большой камень, чтобы все могли его рассмотреть.

На следующий день вся экспедиция перебазировалась к трем удивительно похожим одна на другую скалам, названным нами Тремя Сестрами. Радиометры сразу же обнаружили мощную жилу. Она простиралась по линии разлома с северо-запада на юго-восток и диагонально восходила к вершине центрального хребта.

Чем выше мы забирались, тем интенсивнее трескали счетчики, и, наконец, их трескотня слилась в сплошной визг. Далее жила уходила под ледник. Я отдал по радиации распоряжение доставить из лагеря пять радиозащитных скафандров. Лишние уйдут вниз. Я помню, Вика, как ты умоляла меня оставить тебя с нами. Это было бы по крайней мере безумием.

Видимо, толщина льда была настолько большой, что счетчики в конце концов замолчали. Нужно было проходить шурф. Мы заложили его под ледяным карнизом, венчавшим гребень хребта. Место не очень удачное с точки зрения безопасно-

сти, но именно здесь, по нашим прогнозам, должна была проходить жила. Проходка шурфа затянулась на двое суток. Пришлось вызвать из лагеря подмогу. Наконец на шестнадцатом метре дрогнули стрелки радиометра. Жила была найдена, но мне хотелось пройти шурф до скалы, чтобы взять образец. Я находился в шурфе, когда послышался глухой гул.

— Шеф! Шеф! — послышалось в шлемофоне, — приготовьтесь к подъему! Ледник тронулся!

Я это понял и без них. Послышался оглушительный грохот, чуть повыше моей головы образовалась трещина, и ледяной массив, надвигаясь, стал перекрывать ту часть шурфа, в которой я находился. Люди, находившиеся сверху, стали поднимать бадью, но сечение шурфа стало настолько узким, что она уже не проходила. Ты извини меня, Вика, я буду откровенным: никаких воспоминаний не пронеслось в моем мозгу. У меня просто не было для этого времени. Обдирая плечи, я пытался протиснуться сквозь щель и выбраться из шурфа по веревке. Мне это почти удалось, но тут я снова услышал грохот. Вернее, начало грохота. Услышать его продолжение мне не было суждено...

Обо всем этом я мог бы не писать, потому что и без того все известно. А вот то, о чем я буду писать дальше, Вика, я не могу ничем подтвердить. Об одном тебе хочу попросить: просто верь.

Сознание возвращалось ко мне очень медленно. Не тогда, а теперь шаг за шагом я вспоминал всю свою жизнь. Первое, что я осознал, это то, что я нахожусь в каком-то помещении, до отказа заполненном сложной и непонятной аппаратурой. Я лежал ни на чем, просто в воздухе, хотя и ощущал под собой упругую опору. Голова и грудь были опутаны не то проводами, не то шлангами, а может быть, тем и другим вместе. Тускло поблескивающие иглы уходили под кожу. У меня было такое ощущение, как будто я заново переживал младенчество, детство,

юность и зрелость, только более быстрыми темпами. Я об этом могу говорить потому, что чувствовал, как у меня, в моем сознании, не только увеличивался объем информации, но и менялась, менялась психология. Я вспомнил все до последнего момента, до начала грохота сдвигающегося ледника, продолжения которого я уже не слышал.

В комнату вошли люди. Их было четверо. Одеты они были примерно одинаково, в узкие, облегающие тело костюмы, из какого-то неизвестного мне сорта ткани. Все были высокого роста и необыкновенно стройны. Под эластичной тканью одежды угадывалась хорошо развитая мускулатура. Присмотревшись, я понял, что среди них была одна женщина. Я понимал, что эти люди — скорее всего, врачи, хотя и без традиционных белых халатов, но все же меня покорило от сознания того, что я совершенно обнажен.

Она заговорила первой. Сначала я не пытался вникнуть в смысл ее слов, а только вслушивался в мелодичные переливы сильного, как у оперной певицы, голоса. Она говорила на незнакомом мне языке. Но вдруг я услышал русское слово. Оно было явно русским, хотя и было произнесено с каким-то странным акцентом. Я стал вслушиваться и уловил еще несколько знакомых английских, немецких и французских слов. Как тут не поблагодарить старика Брунса, заставившего меня в свое время изучить эти языки! Но ведь у этой женщины слова из нескольких языков переплетались в одной фразе. Как можно говорить сразу на нескольких языках? Я напряг внимание и вдруг понял смысл сказанных ею слов. Она спрашивала, хорошо ли я вижу, слышу и все ли органы функционируют нормально? Я хотел ответить, но не знал, в каких случаях употреблять русские, в каких — французские и другие слова. К тому же я совершенно не понял грамматики, а она была не русской, не французской и не немецкой. Вместо ответа я кивнул го-

ловой. Этот жест вызвал у них бурную радость. Женщина попросила меня, чтобы я хоть что-нибудь сказал. И я продекламировал, конечно, на русском языке, несколько строчек из твоих песен. Вика, ты ведь сама их сочиняла? И слова, и музыка, правда? Я видел, что эти люди моей речью остались довольны.

Через несколько дней меня полностью отключили от аппаратуры, одели в костюм современного покроя и ввели в свое общество. Эти люди оказались нашими далекими потомками. Разрабатывая залежи селенитов, в глыбе ископаемого льда они обнаружили то небольшое, что от меня осталось. И они решили восстановить меня, может быть, с чисто познавательной целью. Я думаю, нам тоже интересно было бы побеседовать с современным Аменхотепом Первого, Благословенного и Солнцеликого. Из их объяснений я понял, что это не регенерация организма из его части. Этого они не умеют, как не умеют даже просто оживлять умершие клетки. Зато даже по единственной не разложившейся клетке они могут прочитывать полную информацию обо всем организме. А затем в соответствии с полученной информацией синтезировать целый организм. Я не восстановлен, а вновь создан. Мне к тому же еще и повезло, так как я был синтезирован по информации, полученной от сохранившихся клеток мозга, поэтому сохранил все свои знания. Если бы меня синтезировали по другой клетке организма, я был бы тем же самым, но с разумом новорожденного, то есть обладал бы по существу только безусловными рефлексами.

Восстановление представителей других эпох для них не новость. Мне сообщили, например, что на территории бывшей Якутии гуляют многочисленные стада мамонтов, а в морях плавают восстановленные ими дикивинные морские звери, являющиеся, по-моему, ничем иным, как стеллеровыми коровами. Приходилось им и людей восстанавливать. Меня даже познакомили с одним типом, выловленным

на дальней околоземной орбите, где он прокрутился в теневой стороне Земли в титановом ящике более тысячелетия. Этот купил себе бессмертие, заплатив тридцать миллионов за то, чтобы его зараженную раком, замороженную тушу, выбросили в космос. Но он отдал не последнее, так как всем надоедал вопросами, целы ли его шестьдесят миллионов, вложенные в различные американские и европейские банки. От рака его вылечили, но в отношении миллионов ничего сказать не могли. Его просто не понимали.

Вика, благодаря случаю, я заглянул в даль времен. Язык потомков, при помощи гипнопедии, я изучил за одну ночь. Он оказался языком, возникшим естественным путем в результате тесного общения народов и вобравшим в себя все самое совершенное из наиболее популярных языков Земли, начиная от словарного запаса и кончая фонетикой.

Мои новые друзья сделали все, чтобы я как можно быстрее преодолел десяти-вековой разрыв в науках и культуре и включился в активную жизнь общества. Они посвятили меня во все тайны Знания. То, чем они владеют, — это действительное торжество Разума, а их жизнь — идеал человеческих стремлений. Я прожил среди них несколько лет, и эта жизнь была подлинной сказкой.

Только знаешь, Вика, последнее время я стал себя чувствовать птицей в золотой клетке. Я стал скучать. Я вдруг неудержимо захотел опасностей и физической усталости, диких идей и рискованных экспериментов, радости и горя, дружбы и ненависти, костра в ущелье, ветра, солнца, песен, тебя... Я неизлечимо заболел ностальгией.

Мне было известно, что потомки успешно ведут разработку аппаратуры для перемещения во времени. Я изучил всю информацию, имеющуюся по этому вопросу. Оказалось, что проводились опытные заброски в прошлое и будущее аппаратуры, передающей информацию из этих эпох. Было проведено несколько

удачных опытов по переброске животных. Эксперименты требовали громадных затрат энергии и проводились пока в диапазоне трех тысячелетий.

Я обратился в Совет Земли с просьбой перебросить меня в мою эпоху. Мне ответили отказом, разъяснив, что аппаратура пока весьма несовершенна, операции по переброске связаны с большим риском, а точность попадания находится в пределах плюс-минус пяти-семи процентов. Для меня это составит пятьдесят—семьдесят лет. В общем, вся жизнь...

И все же я решил настаивать. В качестве союзника, как мне ни было противно, я решил привлечь ископаемого миллионера, тоже страдавшего, хотя и по другим причинам, лютой ностальгией. Правда, умом он не отличался, зато обладал феноменальным нахальством. А это могло очень пригодиться, учитывая, что потомки перед этим видом психологического оружия совершенно беззащитны. Так оно и случилось. Старый негодяй отлично сыграл роль торпеды. Совет Земли, учитывая нашу принадлежность к другим эпохам, а также то обстоятельство, что опыты на людях так или иначе необходимо начинать, решил удовлетворить нашу просьбу.

Наконец долгожданный момент наступил. Миллионер боялся плюсовой ошибки, потому что он мог попасть в те десятилетия, когда в банках еще не лежало его миллионов. Я, наоборот, боялся минусовой ошибки, так как мог не застать тебя.

Первым перебросили миллионера. Опыт прошел как нельзя более удачно, если судить по восторженной таймограмме, переданной им при помощи переброшенной вместе с ним специальной аппаратуры.

После этого около месяца ушло на накопление энергии, и вот, наконец, меня запечатали в блестящую капсулу, окружили ее магнитным полем чудовищной, не поддающейся воображению плотности и дали разряд.

Когда сознание вернулось ко мне, я

попытался сориентироваться в пространстве и во времени. Это мне не удавалось. Я лежал на жесткой, каменистой земле, в двух метрах от раскрытой капсулы. Метрах в пятидесяти справа от меня дымились развалины двухэтажного здания. Где-то справа, за грядой холмов, слышался частый треск и глухо ухали взрывы. Капсула на моих глазах рассыпалась в мелкий порошок, который затем медленно испарился. Я поднялся и пошел в ту сторону, где из земли вырастали фонтаны огня и дыма. На круглой башне разрушенной водокачки я прочел: «No pasaran!» — и понял все. Да, случая было угодно, чтобы я переместился во времени с ошибкой в плюс семьдесят лет. Я набрал текст таймограммы, нажал на черном ящике кнопку, положил его у стенки и отошел в сторону. Через минуту вокруг него возникли концентрические радужные кольца, конусом расширяющиеся вверх. Голову сдавило невыносимой жутью. Через несколько секунд все прекратилось, а на том месте, где стоял ящик, только слегка дымилась земля.

Я дошел до траншеи, взял у запрокинувшегося навзничь трупа винтовку и залег в цепи. Другого пути мне не было. Я был в рядах тех, кому суждено расчищать дорогу для истории. Для нас с тобой, Вика, и для тех, что отделены от

нас громадой веков. Я расчищал ее голыми руками. Я мог бы помочь тем, что лежали со мной рядом, если бы извлек из своей памяти хоть небольшую часть из знаний будущего. Но я дал клятву потомкам, что свято выполняю Законы Грядущего. Они-то и не разрешают мне этого делать. Поэтому я до последней крохи разделяю судьбу с *samagados* из интернациональной бригады.

Вика, помнишь, ты мне рассказывала, что еще студенткой получила странное письмо из Испании. Оно было извлечено из солдатской фляги, найденной каким-то крестьянином в окрестностях Гвадалахары. Письмо было датировано восемнадцатым марта 1937 года, а на конверте адрес: «196828, Ленинград, проспект Бруно Понтекорво, д. 244, корп. 6, кв. 634. Веронике Дроздовой». Не правда ли, странно получить письмо, написанное семьдесят лет назад адресату, который еще должен родиться через сорок семь лет, по адресу, которого еще не существовало?

Это письмо написал тебе я. Я для тебя давно умер, и в то же время еще не родился. Сквозь годы и расстояния иду я к тебе, к своей Веронике.

До нескорой встречи, твой Эвергет.

18 марта 1937 г. Гвадалахара.

г. Междуреченск

Владимир Куропатов

СЕДЬМОЕ ЧУДО

В детстве я, как, наверное, и все, постоянно жил ожиданием нового, доселе невиданного и потому изумительного. К примеру, очень хотелось, чтобы в мое родное село Кузедеево поскорее пришло электричество. И оно пришло. Это случилось через год или два после войны. Шестого ноября вечером, когда сгустились сумерки, все, и млад и стар, заспешили к средней школе, где творилось просто невероятное: над входной дверью продолговатая коробка, сбита из теса и обтянутая красной материей, на материи написано: «Слава Великому Октябрю!» Внутри коробки загорались электрические лампочки, и все вокруг озарялось кумачовым светом. Лампы на сколько-то мгновений гасли и опять загорались, гасли и загорались: «Слава Великому Октябрю!» — и все вокруг в кумачовом свете. Невероятно!..

Потом я стал мечтать о радиоприемнике. Поверну ручку — щелчок и: «Московское время столько-то часов...» Сбылось и это. Однажды отец принес из магазина картонную коробку и вынул из нее «Рекорд»...

Очень хотелось, чтобы по нашей улице лихо проносились автомобили. И они стали проноситься, подпрыгивая на ухабах, гремя бортами и оставляя за собой шлейф пыли.

А еще всегда тайно мечталось, чтобы в нашей обычной крестьянской избе стоял на этажерке черный телефон. Снял трубку и услышал голос кого-то, кто находится далеко-далеко от тебя. Не сбылось. Впервые телефонную трубку я снял в городе, когда после окончания школы поступил в техникум. Но, наверное, что-то такое осталось во мне от той мечты, если по сию пору нет-нет да и

приснится: вхожу в свой старый деревенский дом, а на этажерке стоит современный голубоватый телефон. Изумляюсь, тяну руку к трубке и... просыпаюсь. Открываю глаза. Голубоватый телефон стоит на моем рабочем столе. Встаю, поднимаю трубку, набираю шестизначный номер.

— Але! Влас Павлович?.. Ну, здравствуйте! Как вы там, все живы-здоровы? Что нового?..

— Да ведь у нас в Кузедеево, как и везде, кажен день что-нибудь новое, — отвечает старик. — Приезжай — сам увидишь...

* * *

Село Кузедеево — старинное, основанное еще до царствования Ивана Грозного. И, судя по скучным строкам летописцев прошлого и по рассказам моих словоохотливых земляков, в свою пору было маленьким сибирским Вавилоном — через него пролегали торговые и иные пути на Алтай, в Горную Шорию, в Кузнецк и далее, в Томск. Богатые исторические, культурные, нравственные, бытовые и трудовые традиции села живы по сей день. Без них, конечно же, были бы невозможны те семь гордостей, семь своих чудес, которыми так широко славится село.

Во-первых, это уникальный памятник природы, липовая роща (или, как называют ученые, «липовый остров») — единственное место в Сибири, где в черневой тайге сохранилась третичная растительность: липа сибирская и двадцать два вида чрезвычайно редких трав. Площадь рощи — десять тысяч гектаров. Необыкновенных качеств липовый мед (встарь к столу их величеств поставлялся)

символ села. Медвежонок на бочонке с медом стал почти гербом Кузедеева.

Во-вторых, это великолепный, привлекающий новокузнецких дачников, сосновый бор. Мальчишки проехали на велосипеде из конца села в конец — счетчик показал почти пятнадцать километров. Примерно посередине на ровной, как столешница, террасе — ухоженный бор. Сосны — наверное, ровесницы самому Кузедееву? — в три обхвата. Правда, таких год от года становится все меньше и меньше — ничто на земле не вечно, но в их кроны уже вонзили острые вершины дерева, посаженные нашими, школьников, руками. Помнит, мы, пятиклассники, никак не могли вообразить, что крошечные, похожие на зеленых ежей, саженцы, станут настоящими деревьями. Лесник сказал:

— Вы будете взрослеть, и они тоже.

Так оно и есть. Мы все давно уже стали взрослыми...

В-третьих, это необыкновенно вкусный хлеб, который выпекают в сельской пекарне. Приезжий или проезжий горожанин непременно затормозит возле магазина, наберет полную авоську буханок и повезет, как гостинцев, своим чадам с домочадцами, друзьям и знакомым. Кузедеевские хлебопеки не держат секрет в тайне, делятся рецептом и закваской со всеми желающими. Но... Говорят, знают мастера кузедеевцы еще и какое-то волшебное слово.

В-четвертых, это фабрика детской игрушки. Когда-то была промартель, выпускавшая деревянные подрозетники, скалки, фанерные лопаточки для ребятишек, тележки. Потом стали делать из прессованных опилок аляповато раскрашенных петухов, кукушек, собачек, кукол. Теперь все это — история. А не так давно был случай. Приезжали в Кузедеево известные артисты. Дали концерт, сели на поезд, поехали дальше. Проводница заглянула к ним в купе и увидела вопиющий беспорядок: на столике сидела холеная с бантом на шее болонка. «Эт-то еще что такое! Сейчас же снимите!»

Один из пассажиров послушно взял болонку на руки.

— Ой! — всплеснула в восторге проводница руками. — Прямо как настоящая!..

Болонку эту звали «Кляксой». Ее, как и «девочек» и «мальчиков», сделанных из материалов современной большой химии, знают и любят не только наши дети, но и мальчики и девочки в разных зарубежных странах.

В-пятых, это созданный при фабрике игрушек цех сувениров, вернее сами сувениры... В-шестых, это музей декоративно-прикладного искусства... Пока я не стану распространяться об этих двух кузедеевских чудесах. Назову самое главное, самое интересное и самое изумительное чудо, без которого не было бы вообще никаких чудес, ни самого Кузедеева.

Так вот, в-седьмых, — это люди моего родного села, их сердца и умелые руки.

Иду по Кузедееву. На опушке старого бора новая школа-красавица. Внизу, под горкой новая столовая, в ста метрах от нее новый Дом культуры, а правильнее бы Дворец, а если совсем по справедливости, то еще одно чудо древнего села. Дальше по центральной улице новые жилые дома, новая почта и еще много чего нового...

Вот я и у дома Ковалевых. Во дворе сам Влас Павлович. Видно, что-то опять, неутомимый, творит, изобретает...

Считаю, здесь мне надо прерваться и все-таки сделать одно признание.

Когда я пятнадцатилетним парнем поступил в Осинниковский горный техникум, стал тяготиться своим деревенским происхождением. И потому, отвечая сверстникам на неизбежные вопросы о Кузедееве, пускался на всевозможные ухищрения, только бы у одноклассников сложилось впечатление, будто мое родное село вовсе не село, не райцентр (был в ту пору Кузедеевский район), а маленький хорошенький городок, а называется он селом по чьему-то недогляду или по какому-то досадному недоразумению. В своем усердии я перестарался. Витька Рязанов, наслушавшись моих рассказов, однажды изъявил горячее желание в следующий же выходной поехать со мной в Кузедеево. На словах я сказал «да», в мыслях же испугался: приедет, увидит совсем не то, и я осрамлюсь. В субботу я тайком ушел на вокзал один. Уже в поезде по-

нял: я предал. Само собой, Витьку. а главное, предал свою малую родину, отрекся от нее даже прежде, чем петел собрался пропеть...

С тех пор минуло тридцать лет. Недавно, когда я возвращался из родного села, где пробыл немало дней, понял, что хоть родился и вырос в Кузедееве, но почти ничего не знал о нем в пору своей молодости. Да и сейчас еще мало что знаю, пусть и привожу всякий раз из Кузедеева по испланному блокноту. Начало всего — люди. И жаль, что по причине ли житейской неуксущенности, или потому, что лицом к лицу лица не увидеть, мы узнаем их позже, чем следовало бы. Но и то правда: лучше поздно, чем никогда.

Так вот, Ковалев Влас Павлович. Сейчас ему девяносто три года. Инженер. Слово это обозначает: специалист с высшим техническим образованием. У Власа Павловича нет никакого образования, ни дня в школу не ходил, читать не умеет. И все-таки он истинный, божьей милостью инженер, если вспомнить, что это слово восходит к французскому «инженье» — изощренная искусная выдумка. Судите сами: двенадцати лет от роду сделал гармонь, потом скрипку, потом построил в деревне поющую карусель, сконструировал часы. А когда пришел работать на Пуштулимский карьер (Алтайский край), где добывали мрамор для отделок станций Московского метрополитена, взамен старой лебедки смастерил другую. Рукоятку ее крутили уже не двенадцать «орлов», а два, и тянула лебедка глыбы в пять раз большие, чем прежняя. В колхозе построил канатную дорогу для вывозки перегной на поля. Похитрее канатную дорогу — с передвигающейся концевой стойкой — построил в кузедеевской промартели «Большевик», и многотрудная проблема доставки глины для выработки кирпича была решена. Делал Влас Павлович особой конструкции телеги и ходки, собирал из узлов, привезенных на санях, первые автомашины, конструировал ручные бензосенокосилки... Все, что было сделано за долгую жизнь Власом Павловичем, не перечислишь. И до всего доходил своим умом, сметкой.

Он и сейчас творит и выдумывает. При мне отдал соседке сработанную по всем старин-

ным правилам, с точеными спицами, прялку. Накануне вечером сшил себе дерматиновую куртку своего покроя, а потом жене Марии Васильевне — ей, кстати, за сто перевалило — теплые варежки. Но это так, мимоходом, и все мелочи. Есть кое-что посерьезнее. Сделал для пробы велосипед с заводной пружиной, ездил на нем в магазин за хлебом, потом уступил внуку, которому далеко добираться до работы. Начал Влас Павлович собирать второй такой же велосипед, посовременнее и похитрее — потребовалась кузня, провозился с нею. А тут зима грядет, дрова надо запасть. Заставил это делать обыкновенную двухрублевую ножовку. Ножовка сама через посредство колес и рычагов, приводимых в движение маленьким электромоторчиком, распиливает бревнышки, а Влас Павлович рассказывает мне о «планов своих громадье». Слушаю его и ловлю себя на мысли, что от встречи с встречей не стареет, напротив, он делается все моложе и азартнее.

Сын его, Иван Власович, рабочий совхоза, тоже большой искусник. Однако увлечен больше не механикой, а декоративной резьбой по дереву. Дом Ковалева-младшего, летняя кухня, ограда, ворота смотрятся так, будто вышли из сказки. Руками Ивана Власовича отделаны кабинеты новой конторы совхоза и зал заседаний сельсовета.

Яценко Константин Родионович. Коренной, даже потомственный житель села и его первый Почетный гражданин. Хирург. Это основной профиль. В Кузедееве же, что бы у кого ни заболело, говорили:

— Однако надо к Яценко идти.

Шли — и Яценко исцелял.

Константин Родионович — фигура колоритная, яркая. Быстр, порывист, внешне суров, только внешне, что лишь оттеняет его внутреннюю обаятельность. За десятки лет врачебной работы провел тысячи операций. К больным добирался любыми средствами, случалось, и пешком, в любую погоду, в самые отдаленные деревни тогдашнего Кузедеевского района. Прооперированного навесит несколько раз на ночь. Ободрит, утешит, а то и веселую байку расскажет...

Причина того, что сам Константин Родио-

нович сейчас болен, простая и понятная: все свое здоровье отдал землякам.

Желая поделиться опытом, врач Яценко выступал со статьями в медицинских периодических и прочих изданиях. На основе одной из статей ему настоятельно советовали писать кандидатскую диссертацию. Это было заманчиво, так как сулило немалые личные выгоды, но научная работа потребует прорыва времени, а оно принадлежит не ему, а больным. И отказался от предложения. Люди, подобные Константину Родионовичу, когда дело касается чего-то их личного, всегда проявляют скромность. Порой излишнюю.

Когда о человеке ходят забавные легенды, то это верный признак незаурядности человека. В моих блокнотах много разных легенд и историй, которые рассказывают о Яценко. Приведу здесь только один случай, на мой взгляд, типичный. Пришел, рассказывают, к Константину Родионовичу мужичок с прооперированной недели три назад грыжей. Врач осмотрел его, расспросил о самочувствии, завел разговор о том о сем (Яценко всегда находил время поговорить с людьми как будто бы о том о сем, а на самом деле его всерьез интересовали история Кузедеева, этнография, быт прошлого. И судя по тем документам и фотографиям, которые он мне показывал, материал собран им уникальный). Так вот, поговорив с пациентом о вещах далеких от грыжи, пожелал ему доброго здоровья. Однако мужичок не уходил. Смущенно поспев и потоптавшись на месте, залепетал:

— Тут я, значит, Константин Родионович... того, в благодарность вам гостинца... туесок меду. Такой, знаете, славный липовый медок, хе-хе... Вы уж примите.

— Спасибо, брат, с удовольствием приму, не откажусь. Однако не откажи в любезности и ты. Самому мне, видишь, некогда — прием веду. Поэтому снеси туесок на кухню сам и скажи кухаркам, мол, Яценко велел: мед в первую очередь — тяжелобольным...*

Булгаков Виктор Михайлович. До недавнего времени директор Кузедеевской фабрики

детской игрушки. С молодых лет немного, как он сам говорит, баловался рисованием и вырезыванием фигурок из дерева. Были в селе и такие люди, кто занимался тем же самым посерьезнее. И Виктору Михайловичу пришла мысль создать при фабрике цех сувениров. И такой цех появился. Конечно, не по мановению волшебной палочки, а с великими трудами, как зачастую появляется многое самодельное, неплановое. В магазинах области появились сразу же полюбоившиеся покупателям деревянные скульптурки: лоси, олени, горные бараны, орлы, дедушки, катящие на тачке громадную репку, и всевозможные медведи-сладкоежки, борцы, рыбаки... С годами в Кузедееве сложилась своя школа резчиков, признанными мастерами стали С. Калмыков, А. Малиновский, В. Отчев, А. Осинцев, В. Селезнев.

Чтобы сохранить лучшие, самые оригинальные работы для потомков, Виктор Михайлович Булгаков высказал мысль о создании в Кузедееве музея декоративно-прикладного искусства. Вот уже почти десять лет такой музей существует. Первый в Зауралье и второй, говорят, в стране — после Московского. Вполне естественно, что профиль музея стал расширяться. Жители села понесли сюда старинные веретена, прялки, вальки, резные скатулки, берестяные туески, вышитые рушники, скатерти и прочие вещи — произведения уже народного творчества. Другие несли углевые самовары, утюги, рукомойники, ухваты, коромысла — появился отдел бытовой утвари. Кто-то принес найденную на чердаке старую живописную картину. К ней стали прибавляться картины, привозимые в дар современными художниками. Открыли отдельный зал живописи и графики. Открыли зал краеведения, в котором полно представлена и продукция фабрики детской игрушки. Игрушки эти стали оживать и учиться разговаривать: тут же при музее организовался кукольный театр, который теперь носит звание народного. В свою очередь театр сросся с агитбригадой, которая показывает взрослым селянам сатирические кукольные номера...

Вот такая произошла «цепная реакция», так в Кузедееве образовался целый и цельный

* Когда материал готовился к печати, пришла печальная весть: скончался Константин Родионович Яценко (Прим. автора).

культурный комплекс. А началось все, напомню, с «баловства», с того, что в молодые годы Виктор Михайлович Булгаков немного увлекался рисованием и резьбой по дереву.

Протасовы. Однажды в Кузедееве была свадьба. Выряженная тройка вороных, звеня бубенчиками, прокатила молодых по кругу почета и вернулась к кинотеатру «Урожай», где односельчане поднесли Ивану Максимовичу и Анастасии Григорьевне Каравай Счастья. Разломив его пополам, жених и невеста передали одну долю шестерым сыновьям и такую же долю снохам, а те поделились со своими детьми, внуками молодых... Последнее слово, как и еще некоторые здесь, по правилам следовало бы здесь взять в кавычки: ведь старшим Протасовым было по семьдесят пять, и это их золотая свадьба. Но могут ли быть пожилыми и тем более старыми Честь, Совесть, Достоинство. Труд — вообще человеческая Нравственность, которая, как этот символический Каравай Счастья, передается одним поколением другому, вторым — третьему и так бесконечно?..

«Мы, вятские, люди хвацкие!» — говорят про себя словами шутивого народного присловья Протасовы. А если шутивость отнять, то останется одна правда.

Судьба семейства Протасовых, переселившихся в Сибирь еще в самом начале двадцатых годов, обычная для своего времени. Иван Максимович и Анастасия Григорьевна сначала трудились единолично, потом в колхозе, председателем которого был отец Ивана Максимовича. Перед самой войной сменил его на этом посту сын. А тут и она, незваная, нагрянула. Снова передал председательство сын отцу и ушел на фронт. Воевал в артиллерии, вернулся израненный. С наградами, конечно. И опять — председательство, бригадирство, прочие хлопотные должности. Так что воспитание детей, считай, целиком было заботой Анастасии Григорьевны. Это при том, что она работала дояркой — больше тридцати лет отходила на ферму. Дисциплина, труд, порядочность, уважение к людям были в семье понятиями культовыми. Вот и вышли сыновья в люди. Все шестеро. Петр, Алексей, Михаил, Василий, Сергей — получили высшее образо-

вание, у Александра — среднее специальное. Нелегким было ученье, особенно старших братьев. Анастасия Григорьевна вспоминает сейчас со смехом:

— Все-таки в город отправляю, на люди. Поприличнее надо нарядить. Возьму две старые, впору только выбросить, одежды и морскую, как из них одну скроить. Хоть умри, ничего не выходит. А нужда стоит рядом, велит. И глядишь — скроила...

Или Петр Иванович, первенец, рассказывал:

— На билет до Новокузнецка мать кое-как наскребет денег. А в Новокузнецке расположусь прямо на вокзальной площади, распродам мешок семечек — и поехал дальше, в Кемерово...

Младшим было уже попроще. Старшие, уже выучившиеся, помогали, да и жизнь сильно переменялась.

Сидел я за свадебным столом, смотрел на братьев: все шестеро, сравнивал с отцом и матерью, слушал их семейный разговор, и вдруг подумалось мне: ведь выходцы из деревни, в тридесятом поколении деревенские, но откуда в них, во всех Протасовых, кроме здравого смысла, крепости ума, широты души, еще и так обращающее на себя внимание благородство? Ответ пришел сам собой: так наше, как и все прочее в нас, наше, отечественное, незаемное и потому непреходящее...

* * *

Мне совсем не хочется, чтобы читатель подумал: и все-то в Кузедееве хорошо, благополучно, прямо не жизнь, а сплошная идиллия. Нет, как и всюду, жизнь в Кузедееве разная и люди разные. И здесь у кого-то не ладится в семье, у кого-то в работе, кому-то, скажем, пожилой и одинокой женщине, третий год не могут отремонтировать крышу, кому-то все обещают, но не подвозят уголь, кто-то на кого-то написал анонимку... Не все гладко идет в совхозе «Кузедеевский», хотя он и не последнее хозяйство в Новокузнецком районе, есть болевые точки в ДСУ и в лесхозе, есть узкие места на фабрике детской игрушки. Есть проблемы и общекузедеевские. К примеру, тот же мост, а вернее, отсутствие его, через реку Кон-

дому, которая разделяет село на две части. Проблему эту мои земляки называют одним из кузедеевских чудес, только наыворот, со знаком минус. Сколько помню себя, столько и обещают власти построить мост, а его, хотя бы подвесного, как не было, так и нет...

Но сейчас я не об этом. Сейчас я как бы окинул Кузедеево общим панорамным взглядом, выделил преобладающие черты в кузедеевском характере и еще раз убедился: характер моих земляков, как и вообще у селян Сибири, или Урала, или Харьковщины, или Гомельщины, — советский. А основные черты этого характера — трудолюбие, неутомимость, вера в свое завтра...

Я иду по обновляющейся своей родине, а навстречу идут люди, земляки мои: молодой скотник совхоза Сергей Вязников и его мать, тоже скотница, Лидия Ильинична, детский фельдшер Валентина Анатольевна Погадаева, мастер ДСУ Анатолий Вячеславович Сафонов, бригадир сборщиков с фабрики игрушек Нина Пантелеевна Сигиневич, учительница начальных классов Валентина Ивановна Толченица — со своими гомонливыми, как воробы, воспитанниками...

А вот и Василий Ефимович Петрушенко. Обаятельной, чудной души человек. Воевал в знаменитом интернациональном полку «Нормандия—Неман». Имеет много наград, в том числе и французский орден, который вручал ему лично генерал де Голль, впоследствии президент Франции. После войны Василий Ефимович без передыху трудился на земле и в лесном хозяйстве.

— Здравствуйте, Василий Ефимович. Как живы-здоровы?

— Спасибо. Ни на что не жалею. Грех жаловаться...

Мы стоим возле Дома культуры, как раз на том самом месте, где девятого мая сорок пятого проходил митинг в честь Победы, выкованной и им, Василием Ефимовичем Петрушенко.

...Тьма разнаряженного народу. Играет духовой оркестр. Он смолкает, когда на трибуну поднимаются люди. Они по очереди говорят речи. Все кричат ура! Кричат так громко и дружно, что мне кажется, что это — УРА! — заполняет весь мир. Вверх взлетают кепки, фуражки, взлетают облака цветов, которые падают на людей, что стоят на трибуне, на большой портрет Сталина перед трибуной. Снова играет оркестр. Люди веселые, они обнимают друг друга и плачут. Одновременно смеются и плачут. Вижу: мать и отец тоже плачут.

— Папа, ты зачем плачешь?

— От радости, сынок. Сегодня все плачут от радости, — привлек меня к себе, обнял.

Я хоть и не понимаю, как можно плакать от радости, но верю: можно. Отец не обманет.

Гремит оркестр, люди улыбаются, что-то кричат друг другу и утирают слезы. Мне это нравится, мне хорошо. Потому что мир плачет слезами радости, потому что — Победа!..

— ...Когда, братец, мир да покой, живи и радуйся... Ну, покурим, что ли? Да поговорим...

Николай Кузнецов

ЗЕМЛЯ ВЗАЙМЫ, ЗЕМЛЯ БЕЗ ОТДАЧИ

...Душевного разговора с лесником у меня не получалось. Сидели мы на березовых чурбаках у печки во дворе, ждали, пока закипит чайник. Не хотелось ему вспоминать героические будни войны, и абсолютно все равно было — выполню ли я задание редакции, поручившей написать о бывшем партизанском взводном.

Иногда, впрочем, он говорил, но как-то книжному, и потом оказалось, что на самодельной этажерке в доме у него стоит книжка мемуаров с дарственной надписью автора — командира соединения, и сведения о боевом пути отряда он, в основном, из нее черпал. Сам не считал и не мерял, сколько прошел.

Чай был готов и разлит по кружкам, остывал. Шофер, отказавшийся от угощения, мотор завел вроде для проверки, а больше — для напоминания, что ехать пора, мол. Я не выдержал. Молодой был, без понятия.

— Столько воевали, орден есть, а вспомнить нечего?

— Орден мне уже в сорок шестом дали, — как-то потемнел лицом лесник. — А вспомнить... Голодно было, страшно, грязно — чего об этом вспоминать? Погоди, вот с этой голодностью случай был, может, интересно тебе будет.

Поезд на Винницу должен был идти, продуктовый поезд. Мы два дня рядом с железной дорогой сидели, ждали сигнала. Без крошки хлеба сидели, дальше некуда терпеть было. Утром, на третий день, связной прибежал.

Поезд тихо шел, но остановиться не успел, без рельсов проехал юзом — и на прикол. Охрана из паровоза выскочила, в бега подалась, не больше трех солдат охрана была, мы уже тогда почуяли неладное. Открыли запор на полувагоне, кто сверху полез, смотрим — бумажные мешки. А в мешках, эх... земля, чернозем, понимаешь, все шесть вагонов с землей, и ничего больше! Хохот стоял такой, я потом никогда не слышал.

На базу вернулись, там запах от котла стоит — в обморок падай. Самолет прилетел, оказывается, пока мы за питанием ходили. Вот такая история со мной происходила интересная, сам бы не видел — не поверил...

Лет двадцать прошло со времени того разговора, давно утерян блокнот с теми записями, лесника того ни разу не увидел, а немудрящий рассказ в памяти остался. Посмотришь по весне на вспаханный черный клин, подумаешь — что за притягательная сила в нем? Ведь земли у нас в стране, казалось бы, — запашись, только используй ее с умом, получишь урожай не для отчета, а для закрома...

Как бы не так. Не только с целинной покончили в пятидесятых-шестидесятых годах. До лугов добрались, до болот, и сейчас мелиораторы нет-нет да и отвоюют сотню-другую гектаров у природы, хотя бойцы, участвующие в подобных битвах, не скажут прямо: вырастет ли что на отвоеванной земле.

В нашем Кузбассе еще один земельный резерв есть. По крайней мере, числится в официальных бумагах Минуглепрома. Это —

рекультивированный массив, исчисляемый тысячами гектаров, который только по объединению «Кемеровоуголь» должен увеличиться за пятилетку еще на 800 га.

Восторгов по поводу рекультивации было высказано в нашей печати и на собраниях непомерно много, и не очень компетентный в этих вопросах читатель умилиться мог: что за хозяйственный народ, эти горняки! Мало того, что углем снабжают страну, но еще и о земле заботятся, возвращают ей, так сказать, девичью чистоту и целомудрие.

Хотя приличествует ли нашей бабушке-земле непомерное омоложение, как-то не спрашиваем себя. Главное — действие, процесс, динамика и всемогущество человека, которое много-много лет оставалось стержнем отношения к природе. Атавизм «покорения» практически изжил себя в пропаганде, но так и остался в психологии целого поколения людей, воспитанного в сознании своего всемогущества и путающего порой его со вседозволенностью.

Добыча миллиона тонн угля открытым способом требует превращения в пустыню 800 гектаров земли. Горные отводы занимают в области 55 тысяч гектаров, и 37 тысяч из них уже числятся в нарушенных, то есть практически в непригодных для хлебопашества.

Ну и что же? В конечном счете на весах экономики нашего с вами благополучия и уголь, и хлеб весят одинаково. С одной существенной разницей: запасы топлива в земле исчерпаемы, а плодородная сила земли — вечна. Если ее по-уму использовать, разумеется, и не вытаптывать механизированным копытом, превращая ее в новую Сахару.

Такую, которую уже вытоптали в окрестностях старого села Мохова, что в Беловском районе.

По газетным опять же делам пришлось прошлой зимой навестить в Мохове Ольгу Трофимовну Лебедеву, известную в области доярку, делегата XXVII партийного съезда. Она была занята, разговаривала с навестившей Мохово землячкой. Вспоминали общих знакомых и среди них неизвестного мне мельника Леонтия. Широко и спокойно жил

он на этой земле, и казалось, тоже вечно будет сыпаться мука из-под круга и неспешно катиться по кругу жизнь.

Мельник умер, мельницу порушили, речка Мереть обмелела, и по утрам будит жителей села рык могучего бульдозера. Три разреза и шахта копают уголь на территории совхоза. Корову на пастбище выгнать некуда. И в разговоре Ольга Трофимовна обронила нечаянную фразу: «Ох, и любила же я свое Мохово, но если бы пришлось выбирать — не осталась бы».

Кому понравится смотреть с утра на пыльные отвалы? И после встречи с Лебедевой, после многодневных поездок по одному из самых крепких сельских районов, Беловскому, показалось, что неестественно противоречие между промышленностью и сельским хозяйством, что должен быть найден оптимальный вариант сосуществования, раз несоединимо соединились заботы о белом хлебе и черном угле.

Показалось, что в последние годы за треском рапортов о добытом угле, выращенном урожае подзабыли мы о главном: как себя чувствует человек, ради которого и уголь добывается, и хлеб выращивается. А хлопот у этого человека прибавилось.

Не стал спрашивать у первого секретаря райкома партии Петра Николаевича Акатьева (он сейчас перешел на работу в обком партии), было или не было. Шоферы рассказывали, что стоял он в один из вечеров на перекрестке вместе с инспекторами госавтоинспекции и отбирал права у водителей большегрузных самосвалов.

Было — не было, но поверить можно, проехав несколько дней по беловским дорогам и проселкам. За последние годы больше стало на них машин двух категорий — «Жигулей» и «БелАЗов». Согласитесь, в попутчики большегрузы никак не годятся, сколько не отремонтируй дорогу, на проход сорокатонников она не рассчитана. А что такое дорога в сельском районе? Она не только тонны нагрузки несет, она — социальная нить, прервав которую, можно говорить о непредсказуемости последствий.

Акатьев охарактеризовал деловые взаимоотно-

ношения горняков и селян такими словами — затяжной конфликт. Не загасили его два постановления облисполкома, где, казалось, спланировано все, до сотки земельного отвода и рубля компенсаций. Не помогли десятки протоколов, подписанных авторитетнейшими товарищами из Минуглепрома СССР.

О чем спор? О земле, об угле, о людях.

С точки зрения горняка земли Беловского района ценны богатейшими угольными пластами под нивами и выпасами, и пласты уже распределены между разрезами «Моховский», «Колмогоровский», имени 50-летия Октября, «Шестаки», шахтами «Инская», «Сигнал», шахтоуправлением «Грамотейское». Старые и надежные дороги, по которым издавна возили зерно, корма и удобрения, учтены в планах горняков как готовые, не требующие капитальных затрат естественные пути переброски угля и породы. Деревни-кормилицы учтены все до единой как населенные пункты, откуда можно черпать, опять же без особых затрат на жилье, соцкультбыт и прочие заботы, готовые кадры.

Уживались подобные устремления и концепции, пока гром не грянул. Некому стало пахать и доить коров. До «передового опыта» дошли — шахтеров перед сменой завозили на ферму раздавать корма. Начиная с 1959 года, села покинула почти треть жителей, мигрировав в города, а те, что остались, в большинстве своем только номинально числятся сельскими жителями. В крупном, издавна хлебоборобском селе Старобачаты с восемью тысячами проживающих людей каждый третий трудоспособный работает на угольном предприятии и только 13,5 процента жителей — в совхозе. Оставшуюся часть прибрали щебзавод, организации Минтрансстроя, обслуживающие отрасли. В деревне Грамотеино оставалось к концу прошлого года 16 человек. В Уроне 60 человек из каждых ста порвали экономические отношения с совхозом.

Проще всего было бы упомянуть еще раз неумные аппетиты кадровиков Минуглепрома и в сотый или сто первый раз призвать к их ограничению. Но простота хуже воровства. Проблема подошла к той предельной черте, когда вместо волевых решений представителей

разных ведомств нужны общие, скоординированные. Есть ли возможность планово управлять процессами развития двух отраслей, чтобы они не мешали друг другу? В райкоме партии считают — есть.

С заведующим сельхозотделом райкома Е. П. Минеевым мы добрались до Каракана, в колхоз «Кузбасс». Типичное для района село с индустриально-угольным соседством, с типичными проблемами. Конечно, справки о взаимоотношениях колхоза и разреза мы могли бы добыть в райисполкоме, но нам нужна была точка зрения местного жителя. По случаю, интервью нам давал старожил, пролаб колхозного стройцеха Семен Алексеевич Бездольев.

— Улицу видите? Правильно, пыль. Дождь пойдет — грязь будет. Разрез что делает? Навозили самосвалами горельника на дорогу и отчитались в благоустройстве. Третий год обещают положить асфальт на тротуар.

Вы понимаете, на отношении к земле у нас поколения росли. И вдруг за считанные годы все изменилось. Ничего не надо — ни пахать, ни сеять, ни корову доить, ни хлеб печь. Вот мои соседи: один — тракторист, второй — шофер. Первый хорошо работал в колхозе — переманили его на разрез. Квартира колхозная за ним осталась, жена потому что из колхоза не ушла. Огород — тоже. Теперь у соседа два законных выходных и работа точно восемь часов, а не от зари до зари. Зарплата выше чуть ли не вдвое.

В прошлом году, значит, приходит время уборочной. Народ в промышленность ушел, людей нехватка — горе. Идем на поклон к открытчикам. Те присылают нашего же парня. Только у него теперь другой ранг, он не колхозник, а рабочий, оказывающий шефскую помощь. В поле он будет работать ровно восемь часов и с выходными. Зарплату будет получать в колхозе с выработки и 75 процентов — у себя на разрезе. А его друг, у нас оставшийся, — кругом в накладе. Посмотрит, посмотрит и уйдет. Точно: уйдет...

Бездольев тоже прав. Уходят не только рабочие. Ушли из «Кузбасса» секретарь парткома и главный бухгалтер. Покинули хозяйство, бедствующее из-за нехватки кадров, не имея

в учетных партийных карточках даже выговора. Отнеслись так: мы — тоже люди, нам жить надо.

Самое время привести «выбранные места» из переписки по острейшему в районе вопросу. Язык переписки, правда, тяжеловат, потерпим ради максимального прояснения ситуации, иначе никак не получается.

«...Беловский райисполком — в Госплан РСФСР, заместителю начальника подотдела земледелия В. Л. Дегтяру. На территории Беловского района интенсивно развивается угольная промышленность. Действующие здесь восемь разрезов и шахт ежегодно увеличивают добычу угля. Большие работы проводятся на освоении Караканского угольного месторождения, реконструкции разреза имени 50-летия Октября, шахты «Инская». Идет строительство первого в стране угольного трубопровода «Белово—Новосибирск», а также железнодорожной магистрали. Все увеличивающиеся объемы производства и строительства в основном обеспечиваются трудовыми ресурсами за счет населения района. Проводимые горные и строительные работы осложняют ведение сельского хозяйства, сокращают объем производства продукции, ведут к ликвидации сельских населенных пунктов. За последние десять лет из сельскохозяйственного оборота изъято около девяти тысяч гектаров пахотных земель, из них около четырех тысяч передано объединению «Кемеровоуголь». Восстановлено за это время 700 гектаров. Рабочие и служащие, жители населенных пунктов зоны деятельности шахт и разрезов не получают достаточного медицинского, торгового, культурно-бытового обслуживания. Имеющиеся объекты социально-бытового и культурного назначения не удовлетворяют возросших потребностей населения. Медленно ведется жилищное строительство, отстает от потребностей строительство и благоустройство дорог. Серьезные трудности с обеспечением людей водой.

Создавшееся положение — следствие невнимания руководителей угольных предприятий, которые заботу о социальных переменах переложили на колхозы и совхозы. Несмотря на то, что Министерство угольной промышлен-

ности СССР еще в 1982 году приняло постановление «О возмещении потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земель под развитие горных пород», оно не выполняется. В одиннадцатой пятилетке из предусмотренных министерством 30,7 миллиона рублей капиталовложений освоена десятая часть.

Резко возрос отток трудовых ресурсов из сельскохозяйственного производства. В последние годы свыше 300 механизаторов покинули свои рабочие места».

Для того чтобы не сделать субъективных оценок из откровенно беспомощной райисполкомовской жалобы, в Белове пришлось заняться моделированием ситуации. Интересы деревни за импровизированным «круглым столом» символически представлял заместитель председателя райисполкома Н. Н. Бобрешев. Интересы Минуглепрома — главный технолог технической дирекции производственного объединения «Кемеровоуголь» А. С. Бирюков. Автор этих строк, не вмешиваясь в споры, только записывал.

Н. Н. Бобрешев. Еще в 1982 году Министерство угольной промышленности издало постановление, где упоминалось следующее: до 1990 года в порядке компенсации за отвод земель (о переманивании кадров и речи не было — Н. К.) угольщики должны были выполнить обширную программу строительства на селе. Она не выполнена на треть.

А. С. Бирюков. Горняки сделали многое. Создано управление рекультивации, на месте отвалов строим пруды. Помогаем и в строительстве, и в уборке урожая, делимся фондами. Если мало — значит, нет возможностей!

Н. Н. Бобрешев. Слишком много обещаний и слишком мало дела. На рекультивированных землях ничего не растет!

А. С. Бирюков. Пользоваться не умеете! Облепихой засадили 600 гектаров, а ни килограмма не собрали, горожане пасутся, извлекают нетрудовые доходы. А один гектар восстановленной земли стоит не менее 25 тысяч рублей.

Н. Н. Бобрешев. Не хотите создавать социальную инфраструктуру, в селах больше половины ваших работников, а чтобы дом пост-

роить, школу, больницу — все с боем, все долго, все качественно.

А. С. Бирюков. А чем строить? Мы же эксплуатационники, а не строители. Я недавно был в Госплане, просил технику для мелиорации, взамен нарушенных хотели вам новые земли на болотах освоить. Мне сказали: иди, Бирюков, иди и больше не приходи. У нас фонды для вас не предусмотрены, мелиоратор тоже нашелся...

Вот такой спор в иных масштабах идет и тухнет во многих инстанциях. Бесплодный чаще всего спор. А ведь суть его требует немедленных действий. Пришлось рассматривать один из протоколов технического совета, где речь шла о перспективах развития Уропского, Караканского и Егозовского угольных месторождений. Докладывал тогда главный инженер проекта института «Кузбассгипрошахт» В. А. Журавлев. За четыре периода по несколько лет к 2000 году в районе намечено изъять (слово-то какое!) 39324 гектара земли, в том числе 17590 пахотной. Сносу подлежат ссела и деревни Каракан, Черемшанка, Коротково, Сартаки, Уроп, Хахалино. Новое строительство запрещалось в Дунай-Ключе, Задубровке, Заре, Ново-Худяках, Камешках.

И компенсации — 173,8 миллиона рублей. А хлеб? Как можно копейками компенсировать цену хлеба? Ведь на отношении к нему определяется и определялась извечно духовная ценность человека. Ольга Трофимовна Лебедева до Москвы донесла свой горестный рассказ, как меняется психология оторвавшегося от земли человека — пакостит он ей куда больше, чем хрестоматийно известный нам горожанин-турист. На складе у фермы молодой водитель лихо разворачивает машину, сдает назад, в борт картошки. «БелАЗ» чертом выскакивает из карьера и пылит по закрайке пшеничного поля. Трактор с мотором мощью в 330 лошадиных сил цепляет похода березу. Электролинию тянут не где-нибудь, а ровно посреди зернового клина. До каких пор?

Люди сейчас грамотные, умные люди, редакции газет завалены письмами о каждом таком факте. Но и «официальные лица», призванные наводить порядок, не лыком шиты. Такие ответы шлют, что от избытка оптимизма плясать

впору. Прочитую один из них, обычный, средний ответ на критическое выступление «Кузбасса». После безусловного признания очевидных фактов наплевательского отношения к земле и людям, на ней живущим, заместитель начальника производственно-технологического управления по открытому способу добычи угля МУП СССР М. Подгорный сообщает: «...За 1982—86 гг. построено 58 двухквартирных домов, общежитие на 158 мест, два телятника на 300 голов, коровник, картофелехранилище, водохранилище, три пруда, 14 километров автодорог. В период с 1986 по 1990 год намечено построить 111 двухквартирных домов, общежитие на 100 мест, две школы на 250 учащихся, два клуба на 280 мест, два детсада на 280 мест, три котельные, коровник на 1200 голов, пять прудов. Увеличиваются объемы работ по восстановлению нарушенных земель. Если с 1970 по 1985 год было рекультивировано и передано землепользователям 1867 гектаров земли, то в нынешнем пятилетии предусматривается рекультивировать на 35,8 процента территории больше, чем в одиннадцатой пятилетке.

Предприятия и организации Минуглепрома СССР, расположенные в Кузбассе, комплектуются кадрами за счет местных трудовых ресурсов. Принято решение направить в регион по общественному призыву 2,9 тысячи молодых рабочих. Из союзных республик, а также из различных краев и областей страны в комбинаты «Кузбассшахтострой» и «Кузбассжилстрой» уже направлено 1,6 тысячи комсомольцев. Состояние капитального строительства в Кузнецком бассейне, в том числе строительства объектов сельского хозяйства, рассмотрено коллегией Минуглепрома и министром тов. Щадовым М. И. Намечены меры, обеспечивающие выполнение установленных заданий по строительству в двенадцатой пятилетке всех объектов...»

Я немедленно позвонил в Беловский райисполком Н. Н. Бобрешеву.

— Не может быть, — категорично отозвался он. — Отток механизаторов на разрез продолжается, в прошлом году из села снова ушло 200 человек. Ни один из добровольцев, направленных ЦК ВЛКСМ в Кузбасс, на сель-

ских объектах района не появился, все — на шахтах и разрезах. Из рекультивированных 1867 гектаров земли ни один не дал ни килограмма зерна. Двухквартирные дома, построенные горняками, горнякам и отданы, никакой помощи селу не чувствуем...

Не все так безнадежно в этой истории, и государство давно предвидело споры на ведомственных межах между предприятиями промышленности и сельского хозяйства. Принят Земельный кодекс РСФСР, строго регламентирующий порядок землепользования, где о пахотных землях — особые строки. Вопрос только в одном — точнейшем исполнении законов. В тривиальном — кто будет делать, кто будет отвечать, где фамилия исполнителя.

По закону все неувязки между отраслями решает Советская власть на местах. Спроецируем еще раз проблему на личности. В Старбачатах председатель сельского Совета Геннадий Степанович Стоянов никогда не успеет заняться этим вплотную, имея в штате исполкома заместителя, секретаря, учетчика военно-учетного стола и участкового милиционера. Некому: сам председатель же в смысле компетентности не силен — он пока учится в техникуме и министерские проблемы ему не по плечу. Специалиста по охране земли, само собой, в штате сельского Совета нет.

Есть в облизполкоме. Там принято специальное постановление, где до точки и до дня расписаны обязанности сторон. Беда в том, что решение, как вы сами догадываетесь, не выполняется. Более того, участились случаи самовольного, без санкции Советов, захвата земель. Шахта «Инская», например, отобрав у совхоза «Моховский» сотню гектаров пашни, стала оформлять отвод только после большого шума в райисполкоме.

— Технология добычи угля не ждет, — считает наш знакомый А. С. Бирюков. — Отвод земель оформляется слишком долго. На него требуются: разрешение директора совхоза или колхоза, санкция местного Совета, райисполкома, облизполкома, РАПО, облагропрома и, наконец, Совмина республики. Пока все инстанции не обойдешь — с планом прогорим, а отведут все равно, не было случая, чтобы отказали!

То есть снова о том же — не обойтись нам в Кузбассе без службы охраны земли, той службы, чтобы без провололок делала бы главное — решала. А пока вместе с законными отводами земель, с организованным набором кадров творятся, мягко говоря, безобразия. В прокуратуру направлено шесть заявлений о нарушении землепользования. То порода высыпана на овощные плантации, то последний родник заглушат в округе на горе жителям соседней деревеньки. Отсутствие стыка между Минуглепромом и Госагропромом бьет по экономике, по перспективе хозяйств. Но всего больше — по человеку.

Он из рачительного хозяина земли превращается в потребителя. Не строит свой дом в Сартаках, не печет хлеб в Каракане, не косит траву в Мохове, стоит в сельском магазине и ждет, пока привезут булку, выпеченную в городе.

А мы еще спорим...

Партийный съезд и последующие Пленумы ЦК многое поставили на свои законные места, и многое наше общество переоценило и переосознано за кратчайший промежуток времени. Боюсь, без изначальной основы, ответственности за землю, на которой живем, трудно будет воспитывать в обществе остальные необходимые качества — абсолютную честность, абсолютное неприятие порока, нетерпимость к лицемерию и ханжеству. Сначала — земля, которую мы призваны оставить последующим поколениям неиспорченной и хлебодородной.

...Опять выступил в «Правде» со своей болью о Байкале Валентин Распутин и не удержался в своей роли озерозащитника, перешел, естественно, к общечеловеческим ценностям.

«Мы не хозяева национальному полю, а только пахари на нем для прокорма и благоденствия, — пишет он, — земля — это рожица и кормилица народа, вечное его пристанище, единственная обитель, к которой со стороны больше ничего не может добавиться. И когда появляются среди этого народа люди, считающие, что земля устроена неверно и ее надо переименовать, опасно не то, что они по-

являются, а то, что мы позволяем себе следовать за ними, как за пророками. Неспроста в наши дни взялось тревожное: те, кто придут вслед за нами, они нам не простят. В России не простят Байкала и Волги, в Белоруссии — Полесья, в Армении — Севана...»

Да в масштабах ли разница, и точно так же, как говорит Распутин, не простят нам, пынешнему поколению, лунных пейзажей окрестностей Белова, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка или угасший родник в Каракане. Пока не научимся отличать зерно от плевел, обещания и заверения о «принятых мерах» от действительного дела. Последняя информация из объединения «Кемеровоуголь» не повергнет ли вас в трепет? В точном соответствии с земельным законодательством горняки вынули и сослаживали пять миллионов кубометров плодородной почвы, снятой с горных отвалов. Точно такой же земли, что пытались если не завоевать, то увезти в бумажных мешках иноземные грабители сорок с лишним лет тому назад. Лежит эта земля у разрезов и шахт без практического применения, а мы смотрим, как маскируются раны земли колючим пологом облепиховых зарослей и мутная вода с гидротвалов заполняет все новые и новые карьерные выемки. Только на рукотворные озера

долго не сядет перелетная птица и, кроме придурковатого карася, выживающего даже в сточном русле Искитимки, не поселится быстрая рыба.

Успокаивают себя полумерами, тешат грандиозными перспективными планами, выполнять которые некому и некогда. Похоже, старый призыв остановиться и оглянуться, обращенный к отдельному человеку, применителен уже к трехмиллионному населению нашего края. Потому что привычка измерять отношение к земле потребностями ведомства, а не края или страны сама себя не изживет и сама собой не исчезнет.

В один из последних дней работы съезда звонил в Москву, Лебедевой.

— Приняты хорошие природоохранные решения, — сказала она. — Нет одного — встречной инициативы горняков. Очень внимательно слушала их выступления, и почти в каждой речь о выполнении плана, о новой технике, об улучшении условий работы и жизни работников отрасли. О земле не говорят. Непривычно, столько лет не ждали милостей от природы, брали и крушили, а тут — беречь.

Земля молчит. Она ждет возвращения долгов, взятых у нее взаймы, но пока без отдачи...

Василий Попок

КАЗАНКОВСКАЯ ХРОНИКА

Задумывалось это село как образцовое. И название ему придумали загодя соответствующее — Новоказанково. Но хоть и говорится, что от задуманного до совершенного один шаг, Новоказанково все еще в проекте. Насколько лет прошло, как выделился колхоз «Октябрь» на самостоятельных паях из своего прославленного соседа — колхоз «Вперед», однако по сей день и полдела не сделано. Крыши так и не достроенных зданий поросли бурьяном. А на одном выросла молоденькая березка. Новоселы уныло матерятся, глядя на ее медового цвета прутик. Как не понять мужиков! Ехали сюда, чтоб хорошо жить и, понятное дело, хорошо работать — в колхозе одно без другого не бывает. Пока «Хорошо работать» можно, а вот что касается: «хорошо жить» — никак не получается. Негде.

Над новоселами посмеиваются потомки здешних кержаков (Казанково в прошлом село староверское): «Приехали, значит, благодетели наши! Когда обратно?» С десяток или того поболее семей уже покинуло деревню. Остальные сидят на уздах и чемоданах, частью так и не распакованных со дня прибытия.

А еще разбирали поступки нескольких новоспеченных колхозников, отказавшихся обрабатывать распределенные по каждой семье участки корнеплодов... Вообще-то сахарная свекла, которую тут выращивают на корм скоту, — вещь добрая. Как только начинают ее валить в кормушки, надои получаются не хуже летних. Почему ж одни за, а другие против благого дела? Почему не согласились новоселы вкалывать на свекле в дополнение к безразмерной колхозной неделе? Дело в том, что каждый вновь прибывший еще и сам каменщик да штукатур, снабженец и про-

раб: жилье, которое им показали, вовсе пока не жилье — панельная коробка, поставленная на юру подрядчиками из треста «Ерунаково-шахтострой», бетонный кубик на изрытой траншеями под будущее отопление глине, четыре стены, крытые бурьяном. Наломавшийся за день новосел до звезд копошится у своего «коттеджа», ковыряется по силе-возможности — ни стройматериалов ему, ни техники, ни плиты. Тут самый тихий начнет «залупаться» и лезть без повода на рожон.

В фокусе раздражения прибывших жить в Новоказанкове оказалась уже упоминавшаяся тут Галина Иосифовна Кайгародова. Впрямую говорят, что она благоволит к тем, у кого никаких проблем, то есть к кумовьям и друзьям, что пристрастна к приезжим. Особо беспокойных потихоньку выживает из колхоза: перебрался в Осинники бывший главный ветврач Б. В. Ортман, уехал экономист В. В. Чмерев. После письма в «Комсомольскую правду» и последующей публикации по его следам под заголовком «Деревенский детектив» снялись с и так не очень-то насиженного места прежний секретарь комитета комсомола Наталья Никоненко и участковый милиционер Александр Смирнов. Все люди в деревне знакомые, энтузиасты местного молодежного клуба по интересам «Визит», теперь уже не существующего. «Деревенский детектив» А. Смирнов работает в Новокузнецке, а Н. Никоненко после долгих мытарств вроде бы пристроилась в школу — взяли со строгим наказом «не высовываться».

Такая получается колхозная хроника...

А ведь и на самом деле здешняя «власть» готова списать вину явно проштрафившемуся «кадровому» колхознику и ох как строга к новичкам. Скажем, Н. В. Ячменева, за кото-

рой числится несколько официально зафиксированных прогулов (последствия развеселой свадьбы), до недавних пор оставалась и членом парткома, и в правлении числилась, а уж личного расположения со стороны той же Галины Иосифовны Кайгародовой отнюдь не лишилась.

Но ведь сами посудите: на Ячmeneвых целое отделение колхоза держится в Чичербаеве! У них при всех срывах столько наработано! На те же корнеплоды они идут безропотно, не отрываются для устройства собственного благополучия. Личное, стало быть, как и положено, ставят ниже общественного. Ну, а новички — народ не то чтобы несознательный, но какой-то ненадежный. Кто точно скажет, сколько любой из них протерпит еще в своей общежитской неустроенности?

Оценка по труду, значит, получается. Только вот какое дело — в эту оценку составной частью никак не входит обеспечение ближних тылов колхозника. Тянет воз — хороший. Ослабил гужи или рискнул на конфликт — плохой. А то, что он, этот плохой, разрывается между недостроенным домом и работой, что он круглые сутки на нервах, выводится за скобки.

Впрочем, Г. И. Кайгародову тоже можно понять. Ее работа учитывается по давно сложившейся шкале ценностей: выполнит колхоз планы и обязательства, значит партийное руководство крепкое, умеет «мобилизовать» народ. Так ее и Новокузнецкий райком оценивает. «Кайгародову мы в обиду не дадим», — заверяет секретарь райкома партии Николай Иванович Шевцов. Оно и понятно: текущие заботы заслоняют суть. Что для партийных руководителей главным было, например, в июле? Сенокос был в июле главным. В августе и сентябре — уборка. Тотом скот на зимовку ставили, корма к фермам возили, посевную технику ремонтировали... В общем, до нового сенокоса круг забот известный. И в их свете все социальные проблемы видятся как бы в туманной дымке надежды на будущее перемены.

Впрочем, не партком и не райком виноваты, что в Казанкове, на центральной усадьбе колхоза «Октябрь», вместо клуба еле жи-

вой, еще до коллективизации построенный дом, одна-единственная библиотека на четырех деревни, битком набитый ребятишками детский сад-ясли, нет медпункта, зато есть изгвазданные «Кировцами» немощные улицы, грязь у ферм, лютый холод зимой в мастерских и вместо обещанной шахтостроителями котельной — бетонный ее скелет. Словом, долгим оказался шаг до задуманного Новоказанкова...

Почему ж так получилось? Почему даже у председателя колхоза А. М. Зеленского, тоже, кстати, приезжего человека, по общему мнению, толкового и энергичного, порою опускаются руки и просыпается желание убраться куда-нибудь к чертовой матери вместе с им же сагитированными мужиками-новоселами?

Загвоздка в том, что отстроить село взялись угольщики. Ежегодно наращивая добычу «черного золота» открытым способом, они отчуждают под отвалы и забон пахотные земли и пастбища, лесные и охотничьи угодья. Только объединение «Кемеровоуголь» к 2005 году должно нарастить добычу до 120 миллионов тонн в год, то есть без малого на 60 миллионов тонн к нынешнему уровню. До сих пор, по статистическим данным, прирост только в один миллион означал отчуждение тысячи гектаров земель, почти половина которых сельскохозяйственные угодья, в том числе треть — первоклассная пашня.

Разумеется, земля просто так, за здорово живешь, угольщикам не отдается. За землю они платят. Имеются соответствующие нормативы. Есть и специально созданные для Кемеровской области, чьи пойменные черноземы в бассейне Томи лучшие по Сибири. Гектар пашни, согласно этим нормативам, стоит 7060 рублей, сенокоса или пастбища — 3340 рублей. Входить в дебаты, почему метровый черноземный пласт колхоза «Октябрь», оцененный 92 баллами по 100-балльной шкале, стоит семь тысяч за гектар (общезвестно, что гумусный слой, созданный природой тысячелетиями, сам по себе бесценен), ставить сегодня целью не будем. Пусть тут Госкомцен с Госагропромом разбираются. Заметим только, что многие годы и многие миллионы рублей, заплаченные селянам за землю, вообще

никак не использовались, лежали мертвым капиталом. Только в последнее время им было дано какое-то движение: на денгги угольщиков, причем самими угольщиками, строятся мелноративные объекты в Ленинск-Кузнецком и Беловском районах, несколько десятков гектаров (мизер, конечно) рекультивировано, порядка полутора гектаров в год «отвоевывается» у тайги (которая, получается, вообще ничего не стоит). Все это, разумеется, мелочь в сравнении с тем, что сейчас в Кузбассе около 40 тысяч гектаров — так называемые «нарушенные» земли, на которых, как на крышах у новоканковцев, ни черта не растет, кроме разве что бурьяна да неприхотливой облепихи, а половина этих нарушенных земель — бывшие пашни, пастбища, села и речки.

На каждого жителя области осталось всего по полгектара пашни. Вынашиваются, однако, планы и дальше развивать «дешевую» открытую угледобычу и довести ее до нескольких сот миллионов в год. Дешевизна эта, понятно, только кажущаяся. Ведь все равно рано или поздно придется нарушенное восстанавливать. А чтобы восстановить только то, что уже являет собой «лунный пейзаж», нужны рекультивационные мощности на порядок выше. Это затраты будущих поколений...

Пока же, повторяюсь, и имеющиеся средства не используются. Поэтому часть их пустили не на восстановление земель, а на приведение в божеский вид хотя бы того, что осталось — на существующие и поныне наши села и деревни. Вот почему пришли в Казанково шахтостроители: в проектах, которые их заставили воплощать в дело, виделось современное село с широкими улицами, с центральным отоплением в домах и т. д.

Но дело застопорилось, едва начавшись. У «Ерунаковошахтостроя», как и у ВПО «Кузбассгосшахтострой», стоящего над ним, непосильная пусковая программа. Они не успевают возводить производственные объекты, то есть брать, согласно ведомственным планам, в долг у земли. Тут уж, конечно, не до возвращения уже позаимствованного, особенно ежели учесть, что некоторые тоже «новосельские» горняцкие города и поселки Кузбасса — не

образец бытового и социального благополучия. Нарращивание производственных мощностей далеко опередило социальную инфраструктуру. Знакомый экономист как-то заметил: «Мы должны жить, по идее, как нефтяной техасский Хьюстон, питающий Америку сырьем. Но живем хуже тех, кого питаем углем, металлом, лесом...» Ну, а село, питающее Кузбасс «сырьем» изначально (хлебом, молоком, мясом, картошкой), осталось вообще на третьем плане. Элементарное благоустройство, на улицах ли, в быту или на ферме, в деревню приходит с многолетним опозданием.

Сейчас наша Кузнецкая земля урбанизована, как говорится, до упора. Труд же тех, кто остался работать на этой земле, кто ее пашет и пасет на ней скот, по-прежнему далек даже от минимума городского или поселкового комфорта. Возьмем для наглядности производственный быт. До сей поры элементарные, записываемые в любой колдоговор на горняцком металлургическом или химическом предприятии требования (душ и раздевалка в административно-бытовом корпусе, заводская медсанчасть, ведомственный транспорт), в деревне даже не осознаются как необходимость. Зайдите на любую ферму, на любой машинный двор и увидите лишь привычные плакаты на обшарпанных стенах, как бы скрашивающих спартанскую неустроенность и, самое главное, найдете в людях искреннюю убежденность, что иначе и быть не может. В Ижморском районе, например, в течение всей прошедшей пятилетки благоустроили лишь две деревеньки, и то относительно — асфальт у контор положили. Про «образцово-показательные» комнаты отдыха для доярок с их профсоюзным самоваром и рублевыми чайными чашками вздохнут районные газеты. А если душ «подарят» животноводам — шум на всю область. Эдакий-то прогресс только оттеняет извечную деревенскую отсталость.

В Кемеровском районе есть населенный пункт по имени Привольный (слово-то, чувствуете, какое!), зажатый со всех сторон породными отвалами Кедровского разреза. В трех километрах от Привольного уютный горняцкий поселок: кино, кафе, почта, хорошая

больница, регулярное сообщение с областным центром. В Привольный автобус не заходит (дороги нет), по улицам в болотных сапогах пройти сложно, а в больницу деревенских стариков Кедровский поссовет не пускает — не «наши», мол. Чуть дальше за Кедровкой — разрез «Черниговский». Предприятие буквально стерло с лица земли вместе с землей! несколько деревень, включая ту, что дала ему название. Раньше тут были колхозы, а потом отделения совхозов «Барановский» и «Щегловский». О финансовых и иных возможностях этих предприятий — сельских и промышленного — говорит такое сравнение: в убыточных «Барановском» и «Щегловском» иную зиму от бескормицы и грязи телятадохнут, а черниговцы отгрохали, вложив несколько миллионов, свинарник (глазуранная плитка в боксах, кормохранилище из рифленого металла, котельная, двухэтажный жилой дом), выдавший за весь первый год своего существования пять(!) тонн мяса. Баловство, да и только.

Возможности угольщиков велики. Тем паче у открытчиков — высокая рентабельность их предприятий получается, в частности, из-за того, что по существующей шкале цен почти ничего не стоит так называемая «окружающая среда», которую они губят безвозвратно. И понятно, что семь тысяч за гектар пашни им выложить, в общем, ничего не стоит, особенно когда учесть, что тому же селянину всего одна тонна угля для отопления избы влетает в червонец без привоза. Но зачем селу отступные? В эпоху всеобщего дефицита, когда и зубной порошок по блату, самое недефицитное — деньги, капвложения, ассигнования. На кой казанковцу оседающие в банке миллионы? Ему нужны дороги и жилье, благоустройство и объекты соцкультбыта. Однако в таком виде свои деньги землегорняки отдавать вообще не торопятся. В 1980 году неиспользованных средств, полученных областным Советом за отчужденные земли, числилось около 11,5 миллиона рублей. К 1983 году сумма возросла еще на пару миллионов. Потом еще... Сколько нарастет завтра? Как-то на пленуме областного комитета партии было сказано, что Кузбассу с его

высокоразвитым промышленным потенциалом жизненно необходимо соответствующее сельское хозяйство, современное — и по уровню производственной организации, и в социальном плане — село. Шефская работа, таким образом, из «трудовой повинности» горожан на прополке, сенокосе, жатве должна трансформироваться в равноправное партнерство, в сотрудничество. Поэтому возвращение долгов земле теми же угольщиками не имеет альтернатив — надо, иного пути нет. Тем более, что реальные долги (если давать за землю настоящую, а не изобретенную в чиновничьем кабинете цену) в сотни раз больше.

...Но вернемся в колхоз «Октябрь», в село Казанково. Пять лет от роду хозяйству. Четыре года из них оно работает прибыльно, игнорируя всякие дотации в виде надбавок к закупочным ценам на продукцию. Помогли им угольщики вложением средств, скорейшим завершением стройки и дай тем самым стартовый импульс социальному становлению села — более существенными стали бы нынешние результаты, насыщеннее полки гастрономических магазинов в городе. И самим казанковцам жить стало бы веселей, добрее бы они были друг к другу. Ведь любая ущемленность интересов ищет выхода, компенсации. Общее социальное неблагополучие в этой деревне выливается в уродливые формы колхозной междоусобицы: создаются «неформальные» группировки, старожильческие и новосельские, приятельские и кумовские; молодежь, объединившаяся было в свой клуб, дуется на старших, этот клуб прикрывших (такого, мол, раньше не было и не надо); во все инстанции летят коллективные и анонимные послания, приезжают комиссии с расспросами и разбирательствами; составляются докладные и строчатся доносы...

Ну а угольщики сюда уже год вообще не показываются: у них реорганизация — ПО «Кузбассшахтострой» стало ВПО «Кузбассгосшахтострой». Даже материалов не дают, чтобы колхозники сами достроили себе дома, которые, кстати, в план включены тресту «Ерунаковошахтострой». Помимо реорганизации у угольщиков важные заботы — накануне пуска новый объект. Там, где межуются

колхозы «Вперед» и «Октябрь», на берегу пока еще чистой речушки Ускат, они купили (Попробуй не продай!) пару гектаров бесценного пойменного чернозема и возводят автобазу для карьерных самосвалов.

Хорошая, должно быть, получится автобаза: с душем и гардеробной, с теплыми стоянками для машин и небедной ремонтной службой. Глядь, еще и подсобное хозяйство организуют, ведь миллионами ворочают — и рублей, и тонн... Ну а где рабочих-то возьмут? А там, где всегда. Вот почитайте, что пишет колхозный шофер Анатолий Макеев в

редакцию «Кузбасса»: «Условия для работы тяжелые. Только первый год машины под крышей, и то не все. Нет запасных частей, нет моториста, слесарей. Да и отношение к нам такое, что опускаются руки у ребят. А ребята в гараже неплохие, любые маршруты выполняют. Таких опытных водителей имеет не каждое хозяйство...»

Вот так-то! Какое уж там «образцовое» Новоказанково! Только бы хлеб убрать да картошку выкопать, а потом — перезимовать, отсеяться, откоситься, угольщикова, химикова, металлургова досыта бы накормить...

Любовь Никонова

КУЗНЕЦКИЙ ВЕНЕЦ

1. «КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ВСЕЙ ЖИЗНИ» ДОСТОЕВСКОГО

В январе 1854 года истек срок каторги государственного преступника, бывшего петрашевца Федора Достоевского, находившегося «в работе» в Омском остроге.

На основании «высочайшей воли» Достоевский был зачислен рядовым в 7-й Сибирский линейный батальон, квартировавший в Семипалатинске.

Началась солдатчина.

Человек, прошедший когда-то 8 месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, переживший в молодости ужас близкой насильственной смерти, прошедший затем каторгу («кандалы и полное стеснение духа»), больной падучей болезнью («...я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы»), писатель, измученный требованиями своего гения («...не мог в каторге писать. А между тем... я создал там в голове большую окончательную свою повесть»), «рядовой без выслуги», страшно тяготившийся солдатчиной («...как я уставал, и чего это мне стоило...»), — этот человек вдруг стал необыкновенно счастлив: его жизнь в первый раз озарила светом любви.

Сам он писал об этом так: «Женщина протянула мне руку... родная сестра не была бы до меня... добрее и мягче...»

«Я был счастлив»;

«Я был очень счастлив».

Женщина, протянувшая руку Достоевскому, была Мария Дмитриевна Исаева.

Астраханская уроженка, происходившая из

обеспеченной полуфранцузской семьи, Исаева состояла замужем за чиновником по особым поручениям таможни.

«В своем браке она была несчастлива, — писал в воспоминаниях П. П. Семенов (Тян-Шанский). — Муж ее был недурной человек, но неисправимый алкоголик, с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости... только заботы о своем ребенке поддерживали ее. И вдруг явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души, как Ф. М. Достоевский. По-нятно, как скоро они поняли друг друга».

В мае 1855 года Исаевы переехали из Семипалатинска в уездный городок Томской губернии Кузнецк, куда, как пишет Семенов, Исаева «перевели... за непригодность к исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске».

В глухом сибирском городке Александр Иванович Исаев получил место заседателя по корчемной части.

На улице Полицейской у портного Михаила Дмитриевича Дмитриева Исаевы сняли дом, состоявший из двух маленьких комнат, коридорчика, передней и кухни. Здесь началась их новая жизнь.

Достоевского после расставания с Исаевой охватило настоящее отчаяние: «...Грусть и горе посетили меня. Я потерял то, что составляло для меня все. Сотни верст разделили нас».

4 июня 1855 года Достоевский написал первое письмо М. Д. Исаевой в Кузнецк. Первое упоминание о Кузнецке в его переписке звучало так: «Как-то вы приехали в Куз-

нецк?» И еще в том же письме: «Пишите мне чаще и больше, пишите об Кузнецке...»

С Кузнецком началась усиленная переписка, длившаяся год и восемь месяцев.

Из всей этой переписки не сохранилось ничего, кроме одного (первого) письма Достоевского к Исаевой.

Тем не менее Исаева была столь огромным событием в жизни Достоевского, так поглощала его мысли, так влияла на все, что он делал в 1855—1856 годах, что упоминания о ней и о Кузнецке не сходили со страниц его писем к другим людям (к брату Михаилу, к А. Е. Врангелю, к А. Н. Майкову, к сестре, к официальным лицам) и из этих писем, счастливо дошедших до нас, выстраивается история кузнецкой любви Достоевского, составляется трагический «кузнецкий венец».

В Барнаул, А. Е. Врангелю, 14 августа 1855 года: «...Сегодня утром получил из Кузнецка письмо. Бедный несчастный Александр Иванович Исаев скончался... Похоронили бедно, на чужие деньги (нашлись добрые люди), она же была как без памяти. Пишет, что чувствует себя очень нехорошо здоровьем... У ней ничего нет, кроме долгов в лавке... Если Вы, Александр Егорович, еще в тех мыслях, как несколько дней тому назад в Семипалатинске, то пошлите теперь, с письмом, которое я прилагаю от себя к ней, ту сумму, о которой мы говорили. Я Вам отдам непременно, но не скоро».

В Барнаул, А. Е. Врангелю, 23 августа 1855 года: «Сегодня получил от нее уже 2-е письмо, считая после смерти мужа. Она пишет, что ей страшно грустно, что кругом послал бог людей, берущих участие, что ей хоть кой-чем да помогают... спрашивает, что ей делать?»

Еще одно обстоятельство.

Она знает, что ей присланы деньги, подзревает, что от меня, но письмо лежит до сих пор на кузнецкой почте. Почтмейстер ни за что не решается отдать... Виноват адрес. Вы правы. Надо было адресовать ей. Адресовано мужу. Он умер. И потому почтмейстер (уверенный, что пишет Вы) просит передать Вам: чтобы Вы в кузнецкую почтовую контору прислали казенную или частную доверенность на

передачу письма вдове Исаевой. Ради Христа, добрейший Александр Егорович, сделайте это и, главное, не медля!»

Осенью 1855 года Достоевский, по-видимому, отправил в Кузнецк письмо, в котором просил руки Марии Дмитриевны.

Письмо утрачено.

Но это его имел в виду кузнецкий священник Евгений Тюменцев, когда в мае 1884 года писал своему адресату А. Голубеву: «Узнавши о смерти первого мужа Марии Дмитриевны, Ф. М. писал ей оттуда, прося ее согласия на замужество с ним...»

О планах на брак Достоевский в туманных выражениях писал брату Михаилу в декабре 1855 года, а 13 января 1856 года отправил ему исповедальное письмо:

«...я давно уже люблю эту женщину и знаю, что и она может любить. Жить без нее я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся хоть несколько к лучшему и положительному, я женюсь на ней... Но беда в том, что я не имею ни денег, ни общественного положения, а между тем родные зовут ее к себе, в Астрахань. Если до весны моя судьба не переменится, то она должна будет уехать в Россию. Но это только отдалит дело, а не изменит его. Мое решение принято... Ради бога, ни слова об этом сестрам: они тотчас испугаются, и начнутся советы благоразумия. А мне, без того, что теперь для меня главное в жизни, не надо будет и самой жизни».

Даже литература, к которой он был призван, которая была его любовью и мукой, временно отступила на второй план.

А. Н. Майкову, 18 января 1856 года:

«...я отложил мое главное произведение в сторону. Нужно более спокойствия духа».

Но «спокойствия духа» не предвиделось.

Не только расстояние было препятствием к вступлению в брак с Исаевой, не только «полная материальная необеспеченность обоих, граничившая с нищетой», не только нерешенная «судьба» Достоевского (вопрос о помиловании, о возможности самому «добывать себе хлеб»), — но появилось и новое обстоятельство, совсем лишившее Достоевского покоя.

А. Е. Врангелю, 23 марта 1856 года:

«Моя дама грустит, отчаивается, больна по-минутно, теряет веру в надежды мои, в утробу судьбы нашей и, что всего хуже, окружена в своем городишке... людьми, которые смастерят что-нибудь недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить ее выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого я еще не знаю.

...она робко спрашивает меня: что если б нашелся человек пожилой, с добрыми качествами, служащий и обеспеченный, и если б этот человек сделал ей предложение — что ей ответить?

Я был поражен как громом... Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния...

Поймите же и ее положение. Она с жадностью ждет перемены в судьбе моей, и все нет да нет ничего! Она приходит в отчаяние и, понимая, что она мать, что у ней есть ребенок, поколебалась на возможность, если мои дела не устроятся, выйти замуж... Я знаю, если б малейшая надежда в судьбе моей — и она бы воскресла, укрепились духом»...

Борясь за эту «надежду», Достоевский написал письмо герою Севастопольской обороны Эдуарду Тотлебену, которого слегка знал по Петербургу. Достоевский просил Тотлебена замолвить слово «о бедном изгнаннике» перед «милосердным монархом» — с тем, чтоб «поступить в статскую службу» и «иметь позволение печатать».

Из расчета на «малейшую надежду» Достоевский просил денег у брата: «Мне нужно это на всякий случай (если б я получил свободу, то тотчас же полетел бы в Кузнецк, а без денег этого сделать нельзя...)».

Чтобы внушить «надежду» Марии Дмитриевне, Достоевский даже заставлял лучшего своего друга А. Е. Врангеля, переехавшего в 1856 году уже в Петербург, и любимого своего брата Михаила писать ей письма с «положительными известиями». Текст этих писем он подсказывал другу и брату, даже настойчиво диктовал.

А. Е. Врангелю, 23 марта 1856 года:

«Ради бога, не теряя времени, напишите ей в Кузнецк письмо и напишите ей яснее и точнее все надежды мои... Вот так: «Мне пере-

дал Ф. М. Ваш поклон. Так как я знаю, Вы принимаете большое участие в судьбе Ф. М., то спешу порадовать Вас, есть вот такие-то известия и надежды для него»... и т. д.»

В письме к брату от 24 марта 1856 года Достоевский просил Михаила Михайловича опекал сына Исаевой Пашу, если удастся определить того в Павловский корпус в Петербурге. И подсказывал брату, как написать об этом Марии Дмитриевне: «...я хочу просить тебя, чтоб ты написал ей в этом смысле. Именно так: Милостивая государыня Марья Дмитриевна!.. Брат уведомил меня, что Вы намерены поместить Вашего сына, когда выйдут ему лета, в Павловский корпус. Если когда-нибудь он там будет и если я хоть чем-нибудь могу облегчить одиночество ребенка на случай, если б он не имел в Петербурге ни родных, ни знакомых, то, поверьте, я сочту себя счастливейшим человеком, тем более, что хоть этим могу выказать Вам живейшую благодарность за радушный прием моего брата в Вашем доме в Семипалатинске... Позвольте пребыть и т. д. Адресовать: Ее высокоблагородию М. Дм. Исаевой, в город Кузнецк, Томской губернии».

(М. М. Достоевский выполнил просьбу брата. 18 апреля 1856 года он писал Федору Михайловичу: «М. Д. я писал уже третьего дня. Я почти слово в слово списал с твоей программы».

Мария Дмитриевна была обрадована. «Письмо твое восхитило ее», — сообщил Ф. М. Достоевский М. М. Достоевскому.)

Между тем продолжалась история с таинственным «женихом кузнецким».

А. Е. Врангелю, 13 апреля 1856 года:

«Кто-то... через кузнецких кумушек... предложил ей свою руку. Она расхохоталась и ответила кузнецкой даме-свахе, что она ни за кого не выйдет здесь и чтоб ее больше не беспокоили».

Для того чтобы «ее больше не беспокоили», Достоевский просил Врангеля посодействовать переезду Исаевой из Кузнецка в Барнаул, куда и сам рассчитывал со временем перебраться и перейти в статскую службу. Такие планы были. Но Мария Дмитриевна не

соглашалась на этот переезд: «что если там примут ее как просительницу, неохотно и гордо».

Оставаться ли в Кузнецке? Или ехать в Барнаул? Или ехать к отцу в Астрахань? Или принять предложение кузнецкого жениха? Или ждать, когда поправятся дела Достоевского? Вопрос оставался для Исаевой нерешенным.

И вот тогда-то Достоевский попросил у командира батальона Белихова разрешения на поездку в Барнаул — для лечения падучей болезни. В сущности, это был способ попасть в Кузнецк. «Что я еду в Кузнецк, я не сказал Белихову, но я поеду туда хоть на несколько часов».

После долгой разлуки он наконец увидел Марию Дмитриевну Исаеву. Это было в июне 1856 года. Он видел ее два дня — «это было блаженство и мучение нестерпимые».

Произошло многое.

Он убедился, что «она любит другого», но не поверил в ее новую привязанность: «одно появление мое в Кузнецке сделало, что она почти возвратилась ко мне опять».

Ему стали известны личность и имя его кузнецкого соперника: «Его зовут Николай Борисович Вергунов. Он из Томска».

Его поразили выбор Марии Дмитриевны: «...Она готова выйти замуж... за юношу 24 лет, сибиряка, ничего не видавшего, ничего не знавшего, чуть-чуть образованного... учителя в уездной школе»...

Он представил возможный конец этой связи: «Не оставит ли он ее впоследствии... не позовет ли он ее смерти!»

Но он признал: «Ее счастье я люблю более собственного». И хлопотал за соперника, который просил у него дружбы и братства, хлопотал — с тем, чтобы перевести его из Кузнецкого уездного училища на более оплачиваемое место: «Если уж выйдет за него, то пусть бы хоть деньги были».

Впрочем, он не собирался самоустраняться. Напротив — он не позволил Марии Дмитриевне забыть себя, он, «отсутствующий», несвободный человек, всегда присутствовал в ее жизни. Осенью 1856 года он писал своему доброму другу Врангелю: «Отношения у нас

с нею те же». К тому времени решила наконец его судьба: «высочайшим указом» Александра II он был произведен в прапорщики.

26 ноября 1856 года Достоевский второй раз приехал в Кузнецк и провел в городке пять дней. Главное событие этих дней было то, что Исаева сказала «Да».

«...если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь, — сообщал Достоевский Врангелю после поездки в Кузнецк. — Она сама мне сказала «Да». То, что я писал Вам об ней летом, слишком мало имело влияния на ее привязанность ко мне... Она скоро разуверилась в своей новой привязанности».

Однако тот кузнецанин, в котором «разуверилась» Мария Дмитриевна и о котором сам Достоевский был невысокого мнения, теперь вдруг поднялся в его глазах: «Теперь он мне дороже брата родного».

Драма близилась к развязке.

«Да, друг мой незабвенный, судьба моя приходит к концу», — писал Достоевский Врангелю. Он готовился к свадьбе, к последней поездке в Кузнецк.

...Надобно 100 вещей самых необходимых. Надобно послать за ней закрытую повозку, которую повезут три лошади туда и сюда 1500 верст — сочти прогоны. Надобно заплатить за свадьбу... (М. М. Достоевскому, 22 декабря 1856 г.).

Достоевский очень спешил с устройством бракосочетания. В письмах к брату и к Врангелю он постоянно говорит о некоем «обстоятельстве», могущем помешать венчанию. Особенно сильно поспешность и волнение Достоевского обнаруживаются в письме к Врангелю, которое он написал накануне последнего путешествия в Кузнецк (25 января 1857 года): «...В воскресенье 27-го еду в Кузнецк на 15 дней. Не знаю, успею ли в такой короткий срок доехать и сделать свадьбу... рискую донельзя, но никак не могу отложить... Нет никакой возможности откладывать по некоторым обстоятельствам»...

Время, когда решалась судьба брака с М. Д. Исаевой, Достоевский назвал «самым критическим моментом всей жизни».

Как пишет кузнецкий священник Евгений

Тюменцев, Достоевский «в конце января 1857 года приезжает в Кузнецк и 6 февраля устраивает бракосочетание» (письмо к А. Голубеву от 30 мая 1884 года).

Венчание Достоевского и Исаевой состоялось в кузнецкой Одигитриевской церкви, где в честь торжественного события было дано «полное освещение» и присутствовало «лучшее кузнецкое общество».

Из свидетельства кузнецанки Т. М. Темезовой (Вал. Булгаков. «Достоевский в Кузнецке», газ. «Сибирская жизнь», № 29 от 10 октября 1904 года) известно, что Достоевский приехал в церковь в сопровождении двух шаферов, одним из которых был Вергунов. Имя Вергунова как поручателя со стороны жениха значится и в брачном документе Достоевского и Исаевой — Обыске брачном № 17.

Факт присутствия Вергунова в церкви в момент венчания, да еще в качестве поручателя, породил привлекательнейшую версию о безмолвной драме, разыгравшейся в кузнецком любовном треугольнике, а может быть, в сердце одного только Достоевского.

Такие исследователи жизни и творчества великого писателя, как Л. Гроссман и Ю. Селезнев, доказывали по косвенным источникам, что в кузнецкой церкви Достоевский пережил мучительные минуты: он ожидал или бегства невесты из-под венца, или непоправимого поступка Вергунова (увезет ее, погубит). Эта версия бессмертна, потому что она в духе Достоевского, в духе его произведений (вспомним роман «Идиот»).

Все предшествующие переживания Достоевского («Для меня все это тоска, ад», «...она погубит себя, и сердце мое замирает», «люблю ее до безумия»), все его сомнения («как знать, что случится»), вся непроясненность ответного чувства Исаевой («Но она часто в своих письмах называет меня братом»), вражда и примирение с Вергуновым, необыкновенная спешка, с которой Достоевский устраивал свадьбу, — вели именно к такому трагическому финалу, вершившемуся хотя бы только в его воображении.

Впрочем, среди всех страстей, как настоящих, так и воображаемых, сопутствовавших необычному кузнецкому венчанию, было одно

тонкое обстоятельство, говорившее само за себя: Вергунов приехал в церковь вместе с Достоевским, а не с Марией Дмитриевной, именно как шафер и друг Достоевского, а не Марии Дмитриевны. Они были теперь вместе — Достоевский и Вергунов. Враги они, друзья или братья — трудно рассудить, но объединились они ради нее, «для нее одной».

Венчание в Кузнецке состоялось.

«Не пускаясь в большие подробности, скажу вообще, что все кончилось благополучно» (М. М. Достоевскому, 9 марта 1857 года).

После венчания и свадьбы Достоевский и Исаева провели в Кузнецке чуть больше недели. Они готовились к отъезду, возложили мемориальную плиту на могилу А. И. Исаева. В. Ф. Булгаков указывает в своей статье «Достоевский в Кузнецке», что писатель часто посещал венчавшего его священника о. Евгения Тюменцева, что даже прислал ему «после в подарок свою автобиографию». Видно, что это было заинтересованное общение. Вполне возможно поэтому, что именно от священника Тюменцева Достоевский услышал исключительную историю о Захарии Верховском (в пострижении — старце Зосиме), жившем в таежном скиту в сорока верстах от Кузнецка в 1818—1820 гг.

Может быть, именно сибирский Зосима стал первым прототипом знаменитого старца в «Братьях Карамазовых».

В целом пребывание Достоевского в Кузнецке было недолгим: за три приезда он провел здесь 22 дня. М. Д. Исаева прожила в Кузнецке год и девять месяцев. В середине февраля 1857 года они навсегда расстались с Кузнецком, 20 февраля 1857 года прибыли в Семипалатинск.

Брак их был несчастлив.

В 1864 году М. Д. Исаева умерла в Москве от туберкулеза. Но она не ушла из жизни бесследно: основа ее характера, сложного и противоречивого, угадывается в некоторых женских образах, выведенных Достоевским. Отголоски кузнецких событий прослеживаются в романах Достоевского «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот».

2. «ДОМИК ДОСТОЕВСКОГО» В КУЗНЕЦКЕ

От деревянного захолустного городка Кузнецка, к которому почти два года было приковано внимание Достоевского и где более 130 лет назад он был обвинен в местной церкви с М. Д. Исаевой, теперь почти ничего не осталось. И все же в молодом индустриальном Новокузнецке существуют небольшие островки старины.

Сохранился дом портного Дмитриева, который в 1855—1857 гг. снимала М. Д. Исаева по улице Полицейской (с 1901 года улица Достоевского).

В этом доме в мае 1980 года был открыт литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. В городе его любовно называют домиком Достоевского. Уже несколько лет домик живет типичной музейной жизнью. В его стенах звучат лекции, проводятся экскурсии. Сейчас перестраивается его основная литературная экспозиция.

154 года этому дому. История, связанная с ним, притягательна, как все, что освящено любовью. И потому с кузнецким домиком Достоевского люди связывают и свои личные сокровенные переживания: горожане, покидающие Новокузнецк, приходят сюда проститься; новокузнецчане-новички часто отсюда начинают знакомство с городом; приходят старики, чье детство было связано со старой городской улицей, с этими столетними домами... Приходят ветераны войны и труда.

Здесь пересекаются пути людей самого разного возраста, разных занятий и профессий. Объединяет их интерес к личности Достоевского, любовь к его творчеству.

В книге отзывов, в этой своеобразной летописи посещений музея, значатся записи на многих языках мира: английском, немецком, японском, польском, венгерском, чешском, болгарском, монгольском...

Приходя в музей, посетители часто задаются вопросами, над которыми вечно задумывается человечество. В немалой степени этому способствуют работы кемеровского художника Германа Захарова, год назад приобретенные музеем.

3. «КУЗНЕЦКИЙ ВЕНЕЦ»

Знакомясь с работами Захарова, посетители вспоминают легенды об оживающих портретах, об игре добрых и злых сил вокруг души художника, о секретах мастеров...

Музей располагает шестью работами Германа Захарова. Это «Кузнецкий венец» (оргалит, масло), «Вечный вопрос» (картон, тушь), «Бессмертие» (картон, тушь), три графических листа «Исаева».

Центральное место среди них занимает двойной портрет Достоевского и Исаевой — «Кузнецкий венец».

При взгляде на картину в памяти сразу оживают строки из писем писателя: «связало нас страдание», «не заживает душа и не заживет никогда», «хоть бы сердце вырвать да похоронить, а с ним все!»

«Кузнецкий венец» Захарова — это трагедия, но зрителя перед картиной не оставляет ощущение света. Даже под густой тенью чувствуется настоящий свет. Художник сказал то, что хотел сказать: он считает, что за трагедией чувств, за скорбями и страстями всегда должно присутствовать светлое начало. В работе над «Кузнецким венцом» он добывал этот свет неустанно.

— Жил Достоевским. Когда выбирал композицию, работал с зеркалом: смотрел и так, и этак. Потом встретил на улице женщину — поразило лицо: Исаева! Попросил попозировать. Сделал три графических листа с натуры...

Это листы «Сцепление», «Исаева в профиль», «Поиск».

«Сцепление» он построил по принципу полифоничности, столь характерному для творчества Достоевского, и решил образ Исаевой через связи и отношения с окружающими людьми. У Достоевского так же решена Настасья Филипповна в «Идиоте».

Не лицо ли это Настасья Филипповна, лицо, исполненное страдания и гордости и окруженное другими лицами, в которых запечатлены и осуждение, и злобная насмешка, и удивление, и неприятие, и опасение...

«Исаеву в профиль» Захаров, напротив, отключил от всего окружающего мира — она

совершенно одна. Это не просто отсутствие других людей — это настоящее одиночество, «когда уже некуда больше идти». Разве не оказывалась М. Д. Исаева в безвыходном положении в Кузнецке? Разве не от отчаяния погибла «в угле» у хозяйки Амалии Федоровны Катерина Ивановна Мармеладова?

И наконец графический лист «Поиск». Художник пошел по интересному пути: к Исаевой — от самой Исаевой. Он сравнивает Исаеву с ней же; исследует Исаеву рядом с Исаевой; в разных вариантах ее лица, то гордого, то задумчивого, то печального, то как будто веселого, пытается выявить главное в ее характере.

Ведь пытался же угадать истину князь Мышкин перед портретом Настасьи Филипповны: «Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!»

Художник перенес «гордое лицо» на орбиты, а рядом выписал страдальческое лицо Достоевского, соединил руки героев — но рука Марии Дмитриевны лежит в ладонях Достоевского безучастно.

Не спасено ничего. Видно, что не спасено. Но внутренний свет картины подсказывает, что спасение все-таки есть: отсветы «Кузнецкого венца» пробудят к жизни героинь Достоевского.

Для самого Захарова лучи, исходящие от

«Кузнецкого венца», озарили разные стороны мира великого писателя — не только трагедию чувства, но и трагедию мысли.

Лик Достоевского, изображенный в красном и черном цвете («Вечный вопрос»), искажен, кажется, самой динамикой мысли, ее ритмичкой, усилиями разума разгадать природу человека, постичь устройство Вселенной.

В луче «Кузнецкого венца» рождался портрет «Бессмертие». Автор называет его «черный Достоевский».

У «черного Достоевского» — светящийся, пронизывающий, всевидящий взгляд.

«Спасибо, что я смотрел в его глаза», — написал посетитель в книге отзывов.

Лучи «Кузнецкого венца» проникают во все искусство Захарова: создавая цикл «Несыгранные роли Василия Шукшина», он изобразил Шукшина в роли Достоевского; увлекшись историей сибирской каторги и ссылки, опять же принялся рисовать Достоевского. Мотив святого и страдающего материнства и детства, берущий для Захарова начало от Достоевского, стал ведущим в его антивоенной графике последних лет.

Многое и многих объединил «Кузнецкий венец» и многое еще объединит.

Как сказано в эпилоге «Братьев Карамазовых»: «Ну, пойдемте же! Вот мы теперь идем рука в руку, — и вечно так, всю жизнь рука в руку!»

Александр Казаркин

ЧУВСТВО ПЕРВИЧНОСТИ

К 70-летию Василия Федорова

Река эта ничем не знаменита, во всех энциклопедиях стоит самым последним словом: Яя. Но она заслужила самые теплые слова, и ей поэт посвятил несколько стихотворений: «самой близкой была и будет, жив пока, одна таежная сибирская незначенитая река». Ничем не заменить родные места, здесь пробиваются роднички душевной жизни, сюда память возвращается в любой день. А потом приводят сюда стихи, слова памяти. Человек умер, возвратился в природу, а память, часть души его, живет и помогает нам в обживании земли.

Если есть особый сибирский образ мира, то исток его — в особом чувстве природы. Русский человек в Сибири как бы еще не до конца породнился с природой. Не то чтобы он чувствует себя пенкоснимателем, нет, — она не рождает в нем нежной признательности. Да и тайга скорее научит замкнутости, суровой собранности, чем грустным воспоминаниям. Прибавьте к этому быстрю, катастрофическую убыль живой природы, развороченную на тысячах гектарах землю, и станет понятнее трудное чувство земли родной, и вы согласитесь, что в Кузбассе, во всяком случае, неуместны идиллии. *Красота в состоянии ущерба* — так видится мне основной мотив лирики Василия Федорова, одного из главных создателей «сибирского поэтического мироощущения».

Долго я не воспринимал основной нерв поэмы «Проданная Венера», она казалась аморфной, слишком многотемной. И вдруг открылось главное в поэме — конфликт сегодняшней выгоды и вечной красоты. Так это же самое злостное! «Мол, помните, когда здесь рыли для первой домы котлован, она плыла за океан. Навстречу ей машины плыли». «Венеру» Тициана, достояние России, променяли когда-то на машины. Символический смысл этого события открылся увидевшему приметы опустошения земли на своей малой родине.

Она же, вечная красота, явившись, резонно замечает: «Вы перед вечной оправдались, Попробуйте перед земной». Получается противоречие, и оправдание оказывается неубедительным: «За красоту времен грядущих мы заплатили красотой».

В это надо вдуматься. Красотой Земли, совершенством, которого достигла природа за миллионы и миллионы лет муки, борьбы, мы оплатили красоту жизни грядущих поколений. Землю отцов отдали в залог беспечального счастья потомков? Нет, этот лирический парадокс можно понять только из всего контекста стихов и поэм Василия Федорова. Я стал вглядываться внимательнее — открылось осознание личной вины. Перед матерью мы виноваты, перед домом, перед землей родной. Они ведь ждут, не перестают ждать. А получают извинения.

Я бросил ветку
В речку-реченьку
С моста, гремевшего над ней,
Чтоб ветку ту прибило к вечеру
Под окна матери моей.

Огни зажгутся в Яя-Борике,
Тогда она с поклоном дню
Сойдет к реке помыть подойники
И тронет весточку мою.

Застраждет
Грудь ее уставшая...
О том, что минул я ее,
Подскажет никогда не лгавшее
Ей материнское чутье.

Это взгляд из невероятной дали — со звезды Веги. На прекраснейшую из звезд земного небосклона попал лирический герой поэмы «Седьмое небо», затосковал там сразу же по родной речке, по матери. По родимой земле

запечалился, и вот исповедуется ей в своей давней вине. Ведь он обещал вернуться навсегда или надолго. Так, в космической раме, стал понятнее *мотив прощания и вины*, столь распространенный в лирике Федорова. И вот появляется заклинивание, или мольба, или молитва к речке:

Налимовая,
Пескаревая,
Да сохранятся на века
Твои глубины окуневые
И черемшовые луга.

Да не иссякнет вод течение,
Да будут дымкой голубой
Ходить туманы над тобой
И зоревые, и вечерние.

А может быть, это причитание, оплакивание? Зачем понадобилось улетать на Вегу, чтобы признаться в любви к родной речке? Так и спросил когда-то А. Прокофьев: «Зачем тебя понесло на эту Вегу?»

Нет, Вега не случайность, не каприз фантазии. В этой поэме открылась тяжба земного и вселенского в душе человека. Чувство космической вины перед землей, перед любимой, перед матерью. Пожалуй, на этом контрасте — на соединении реального земного с космизмом — и держится мысль в философской лирике Василия Федорова. Да, это философская лирика, притом с очень современным чувством природы. Одно дело — точные приметы края, природы, теплое сыновнее чувство, которое нельзя имитировать, другое — символика бытия. Они так редко соединяются в органическое целое даже у самых признанных современных мастеров философской лирики. И опять же ключ к пониманию надо искать дома, на родине поэта.

«У каждого поэта для его любимой местности должен быть некий фокус красоты, то есть место, откуда красота видится наиболее ярко. Для меня это Назаркина гора около Марьевки. С нее я часто смотрю и не могу насмотреться на знакомые с детства картины природы. Они для меня как простой хлеб, не одобренный излишними пряностями. Сладости и другие специи слишком быстро набивают оскомину. Марьевка с ее людьми и природой мне никогда не надоедает. Она возвращает мне чувство первичности».

Я это понял так: претензии разума укрощаются смирением перед родной землей, перед родом и жизнью. А ведь нынче куда как много в науке и литературе знаков неуважения к жизни: вот, мол, сколько мы преобразовали, как все пропало! «Вы лучше у самой реки спросите, куда б она хотела повернуть». Жить в разладе с природой и не придавать ему значения — это и есть неуважение к жизни.

«Чувство первичности» — это, наверно, когда все претензии утихают перед волей земли-матери. Из нее вышел, в нее вернешься. И не думай, что твоя наука мудрее народного здравого взгляда на вещи, не заносись. И что значит твоя слава перед смиренным и вопрошающим взором родной деревни?

Творческой судьбой Василия Федорова было — идти по следам Есенина. По следам великого предшественника, но своим стилем и голосом сказать о Сибири. Подтвердить: нет поэта без чувства родины. Ведь начинал-то наш земляк в ту пору, когда на Есенина был полугласный запрет, когда не многим были известны его слова: «Знаешь почему я поэт?.. У меня родина есть. У меня Рязань. Я вышел оттуда и какой ни есть, а приду туда же». А его, учителя своего, Василий Федоров считал самым ярким народно-национальным талантом. Можно сказать, цель свою в зрелости он, поэт Сибири, осознал так: довыработка мотивов и тем, намеченных Есениным. Из них первой — беда земли. «Как в смиренную рубашку мы природу берем в бетон» — эта гениальная есенинская строка может породить многие поэмы. Ведь земля-природа в мире Есенина — мать, источник жизни и красоты. И вдруг ее «в смиренную рубашку» (так поступают с буйными сумасшедшими). За что или зачем? Ради прогресса? Да прогресс ли это?

«Пророчество» поэта — это тоже есенинский образ-мотив, развитый Федоровым до жутковатых предсказаний, смысл которых разъясняет время:

Меня охватывает дрожь,
Когда смотрю в провал закатный:
О, человечество, куда ты
Куда ты, милое, идешь?

Земли не вечна благодать.
Когда последнего потомка
Ты пустишь по миру с котомкой,
Ей будет нечего подать.

Вернуть цивилизованному человечеству «чувство первичности»... Если бы... тогда б оно попятилось от «провала», а то ведь не торопится, любопытствует заглянуть. Тоже, пожалуй, сатанинская гордыня разума, — что, мол, там, за концом, за финалом? А ничего там, — камень, возвращение к добиологическому состоянию планеты, только и всего.

Говоря современным научным языком, поэма «Сельное небо» — это антиутопия. Нет пока у нас права рваться туда, к Веге, пока захлавлена родная земля, когда беда ее растет день ото дня. Иначе космические завоевания станут просто бегством из захлавленного дома.

Мир Вегги идеален, но вот бедная родная Земля, она же была прекрасней! Издали она видится рано состарившейся, кое-где еще в остатках былой одежды, лесной и травяной, но больше — в лохмотьях. Нищенка она, «брошенка», что ли? Не от хорошей ведь жизни она «накрутилась, дымом накурилась, лечебных наглоталась порошков». Совсем как про мать-одиночку, от которой отвернулись повзрослевшие дети. О Земле — как о женщине, безвременно увядшей, чью красоту как-то не успели оценить: «Еще бы жить да жить моей планете, еще б снять снятием чела, когда бы не изматывали дети, что в звездных играх юной зачала».

Редкостное зрение: природа — домашняя и космическая одновременно.

«Марьевские звезды» назвал В. Федоров свою вторую книгу, с которой и началась его известность. Звезды — домашние, родные. «Здесь все зримо, здесь жизни основа основ. Мне становится как-то намного яснее». Поэтому, наверное, прощаться с родным селом — то же, что проститься с Землей. Иначе как же ей жить, без сыновнего к ней отношения? Сейчас, зная о кончине поэта, страшно читать известные его строки. Это ведь завещание или исповедь, признание своей вины: не сумел главного.

Земля моя,
Тревожно мне порой,
Как будто в тесном доме
Без привычки
Детей своих оставил за игрой
И не прибрал,
И не припрятал спички.

Исповедь-покаяние, смирение перед родным, любовь-сострадание — это ведь коренная русская поэтическая традиция. Отсюда и осознанная литературная традиционность — из желания сохранить жизнь на подобающем ей месте. А можно ли оригинальничать в делах, связанных с жизнью? Скажем, на пашне или при посадке леса? Сама природа указывает нормы, пределы, переступать которые — смерти подобно.

Трагедийность стихов Василия Федорова напрямую связана с их совестливостью, то есть с повышенным чувством личной ответственности. Не образ поэта-избранника вижу я в лирике В. Федорова, а образ художника-страдальца. Он острее многих видит не только красоту земли, но и уничтожение ее людьми, а ведь «все несовершенство мира лежит на совести его». Забвение трагических мотивов в эпоху «бесконфликтности» приводило как бы к атрофии каких-то чувств, порождало глухоту к милосердию. А поэт твердил свое: «Трагедия — удел лучших, передовых. Она не помешает нашему оптимизму».

Слова Достоевского о красоте, которая только и спасет мир, мы повторяем и тогда, когда видим обезображенную землю, гибель живой природы чуть не на каждом шагу. Сказать: Василий Федоров славит красоту земли — будет так же приблизительно, как повторить общее место о Есенине, воспевавшем Русь. Поэт рано уходит из жизни, измучившись неслаженностью ее, недоброжелательностью к его стихам, а критик после смерти его твердит о «воспевании». И школьникам задают сочинения на тему: «Россия, сердцу милый край», многие из них так и не узнают вторую строчку этого стиха: «Душа сжимается от боли». Вы думаете, трудности и сложности есенинской эпохи давно позади, зачем, мол, сравнивать? Так ли уж позади, не возникли разве новые, может быть, еще потрудней? Поэт настаивал: «Время, переживаемое нашей планетой, невероятно сложно. С одной стороны, высокие достижения ума, научных и технических открытий, огромные социальные завоевания, высокие взлеты благородства, с другой — падение, распад личности, тупая жестокость войн, убийство ни в чем не повинных людей, жажду: их только того, чтобы остаться самими собой».

Нетерпимо,
Во зле запальчиво,
Непреклонно и в доброте,
Человечество
Только начало
Разбираться в своей беде.

Острое чувство переходного времени: сдвигающийся шаг — в неизвестность. Послезавтра, может быть, — окончательное расставание с привязанностями и привычками, данными нам землей, поколениями предков. Послезавтра — человек во Вселенной, и ему, пожалуй, некогда будет оглянуться на Землю. Да, наверно, не на что будет оглянуться: чудо земное, цветение жизни, похоже, будет сметено.

Но ведь земное и вселенское в человеке прочно увязаны. И не впустую сказал древний проповедник: «Что пользы живому, если он приобретет весь мир, но повредит душе своей?» Будет ли ему счастье, если для него исчезнет тайна жизни, если все он посчитает познанным и подвластным? Человек в любви — тот же, что и в подчинении великого пространства, не больше он и не меньше:

В ту ночь не понимала ты,
Что счастье более, чем скупость,
Мешает легкая доступность
И постижимость красоты.

Ни наука, ни поэзия уже не помогут нам вернуться к былой простоте жизни. Но цельность мировосприятия нужна нам так же, как

воздух; не веками ведь жить с ощущением кризиса человечности, дефицита ее.

Руссоизм, бегство от современности — самое пустое занятие для лириатора. Здесь не требуется большого душевного капитала. А по сути дела, здесь лишь простейшее желание отвернуться, уединиться, не замечать, — ну чем не духовная сытость?

Нет, тут не мудрость, тут дезертирство или самообман, и Василий Федоров с желчью отзывался о такого рода эстетях. Мудрость сейчас в том, чтобы понять, насколько мы вышли из-под контроля природы.

Крутая, мудрая природа
Еще на памяти моей
Была учителем людей
От их рожденья до исхода.

Но вот за срок, что мною прожит,
Родная так искажена,
Что, искаженная, она
Учить людей
Уже не может.

Безнадёжное признание? Думаю, что оно касается не отдельного человека, а противостояния природы и культуры. Потому что при встрече с Марьевкой, с родной природой поэт отмечал «восстановление некой световой энергии. Сначала я чувствую себя беспомощным перед лицом природы, потом она какими-то световыми волнами входит в меня. Тут уж начинаются стихи». «Свет Марьевка!» — вот ведь как обращается поэт к родной деревне.

«Чувство первичности» постоянно возвращало его к вечным темам. Из них самая устойчивая — любовь. Важнейший свой сборник стихов Василий Федоров назвал «Книгой любви». Это так же обширно по смыслу, как «Книга жизни», «Книга природы». Вся изломанность, переусложненность жизни современного человека тут сразу видна, как все высокое и низкое в душе его. Любовь возможна лишь как вера в чудо или как движение между двух бездн. Слишком «окультуренная», рационализованная, она становится фальшью, слишком «раскрепощенная» — впадает в скотство. Ведь человек, если и хочет лесным зверем выглядеть, то это игра: «зверь»-то он загонный...

Дорога та
Полжизни длилась.
Она такой глухой была,
Что терпеливая наивность
Отстала и не догнала.

В любви попутной
Спозаранку
Забывалась где-то чистота

И горделивую осанку
Сменила просто прямота.

Опять же о дефиците естественности, простой человечности. Плохо, что ценить красоту — земли-матери, женщины, дружбы — мы научаемся поздно. Но ведь мудрость даром не дается, хоть в любви, хоть в главном деле жизни.

Жизнь природы
Мудрое дело.
Не случайно, мой друг, неспроста
Золотые цветы чистотела
Вырастают на сорных местах.

Больше всего Василию Федорову подходит определение — природоцентрист. Это обозначение философской позиции: не культура интригует его, не в ней он ищет начала и конца, а в природе. Почему она посылает по следам человека чистотел, подорожник, ромашку аптечную, пижму и зверобой? Слово мать — повзрослевшему и самонадеянному сыну, который «сам с усами»: а вдруг в час беды ему пригодится?

А что же сын? Душа летит памятью над оголенным пространством и ничего не узнает.

Здесь, где умер шестел,
Некого спросить,
Чьих миров пришелец
Приходил косить.

В поздних стихах Василия Федорова все чаще появляются образы гротескового звучания, символы убиваемой красоты. Чисто пейзажных зарисовок уже нет, стихи получают либо философскую, либо публицистическую нагрузку. Например, так:

В глазах еще белым-бело...
По северу кочуя,
Я видел лебедя крыло,
Я видел лебедя крыло...
Им подметали в чуме.

Пожалуй, здесь уже не индивидуальные, а эпохальные качества поэзии. Сегодняшние заботы всегда перевешивают у советских поэтов некрасовско-есенинской школы над всеми другими. Как сказал Твардовский, «муравьиная злая возня маленькой нашей планеты» важнее, чем «космоса дальние светлы».

Василий Федоров написал предисловие к сборнику «Дыхание земли родимой», выпущенному в Кемерове. Вопреки идилически звучащему названию сборника, большей частью стихи говорят о разладе с землей. «В стихах сборника особенно остро звучит тема отношения между человеком и природой. Из ныне

действующих поэтов в сборнике, пожалуй, нет ни одного, который в своих стихах обошел бы эту болезненную тему... Кемеровская область одна из самых промышленных областей страны с объектами самыми антагонистическими по отношению к природе — шахтами, металлургическими и химическими заводами». А еще поэт отметил, что и наука нередко действует как провокатор природы: нацеленная будто бы на исправление ущерба, она порой вызывает еще более глубокие и необратимые изменения.

Так где же ответ? «Ищи родину!.. Нет поэта без родины» — этот есенинский завет живет в поэмах и стихах Василия Федорова. Если человек сохранил чувство родины, он не станет славить «железные пейзажи века», он озабочится делами земли. Может быть, из всех фетишей, создаваемых людьми, самый вечный и нужный — культ земли. Он создан на заре культуры, он возвращает нам дальнюю память человечества. А кто может представить себе

Сибирь без природы, без тайги и чистых рек? Впрочем, многие, пожалуй, уже могут, большая часть населения Кузбасса. Здесь идет небывалый эксперимент над живой природой, здесь должен родиться и поэт небывалый. Потому хотя бы, что агрессивный натиск на природу не может не вызвать сильный духовный отпор в человеке, сохранившем душевную привязанность к породившей его земле. Часть природы, он ею жив, в нее верует.

О, мы творим, преображаем!
Но почему ж, врага грубей,
Мы поминутно угрожаем
Извечной матери своей?!

Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забить все культы и ввести
Непогрешимый
Культ природы.

Зоя Естамонова

КОРНИ

1. «ПРИНЦЕССА НА СМОРОДИНКЕ»

Такого убежденного и энергичного, крепко преданного родной земле человека, как Ирина Анущенко, легко представить себе комиссаром 20-х годов или среди героев — строителей КМК. Она приехала в Кузбасс в 1929-м, в год Кузнецкстроя. Могла быть она бойцом-подвижником культурно-идеологического фронта. В том же, 1929-м, в одном из сел Топкинского района был убит кулаками избач Иван Охов. Только стойкие могли в то время выполнять суровую миссию народного просветителя. Она всегда была стойкой.

Но родилась наша Ирина в 1919. Десятилетней девочкой привезли ее в Кузбасс из белорусской деревни.

В их семье детей тогда было четверо, младшей, Машеньке, около двух годков.

До станции Мариинск ехала семья Анущенко в теплушке, до поселка Правый Мурюк Чебулинского района отец нанял подводу.

Поселок оказался раскорчеванным для «плановых переселенцев» участком тайги. Здесь уже стояло три дома. Предстояло им строить свое жилье, сначала простой шалаш да погреб. «Это будет у нас, детки, как на фронте», — сказал отец. И они с дедушкой, едва сошли на весенние проталины с первой травой, взялись за пилу и топор. Дед Федор Филипович все умел — плотник, столяр, бон-

дарь и кожемяка. Ему семидесятый минул, а в работе не отставал от сына.

Вскоре купили лошадь, корову. В молоке был заметный привкус колбы. Колба росла вокруг в изобилии.

На прогалинах между пихтами и березами сияли свежие озера сиреневых кандыков. Речка Белый Ключ поила людей и окружающую зелень своей чистейшей водой. Бежала река по разнолесью и равнине, где куполом поднималась к небу гора. Работать взрослые и дети вставали рано, еще туман висел над речкой, и солнечное золото чуть проблескивало в темной бархатной хвое высокого пихтача.

Сеять стали на второй год. Появились свои пчелы. Ягод и грибов летом было вдоволь. В их поселке, где дом за домом вырастали на глазах, было кого подкармливать матушке тайге. Дети в этом приволье росли как на дрожжах. В семье Анущенко — через два года по ребенку, и так к четверым мать еще прибавила пятерых. Доставалось забот няньке — старшей сестре и можно себе представить, каким счастьем было для Иринки вырваться из семейного детства в тайгу, на свиданье с ягодами и грибами.

Мелькало в кустах ситцевое платьишко. Иринке казалось, что она не бежит, а птицей летит на свободу... Не угнаться вам за ней, комары и пауты. В просветах бурелома, среди

вздыбленных корней и сломанных стволов, обильно рос малинник. И красная смородина почему-то любила селиться возле сваленных в овраг, вывороченных древесных корней.

Везде природа старалась примирить вечное разногласие жизни и смерти. Сквозь мертвые, изломанные руки сухих корней к небу тонкими пальцами, норовила прорасти гибкая зелень кустарника, кишели муравьи в трухе старого пня, славил солнечный свет россыпь ягод.

Кислицу Ирина собирала быстро, так что в минуты отдыха можно было позволить себе полюбоваться ярко-оранжевым и вместе траурно-черным раскрьльем присевшей на локоть бабочки, спросить пчелу, в каком цветке таятся самый сладкий сок, понаблюдать за усатым жуком, ныряющим в пыльном белом соцветии высокой пучки.

«...В тишине все вокруг замерло, воздух настоян на разных травах, цветах, дышит легко, свежо...»

Слово воспоминаний Ирины Павловны о детстве прочтем через пятьдесят пять лет.

«...Сосны стояли очень высокие, звонкие ветви были как бы в виде парашюта, зонта, на самой верхушке разветвлена каждая ветка... внизу стелется зеленая, мягкая трава, очень густая, нехоженная...»

Сосна — «парашют» с ее «звонкими» ветвями. Обратим внимание на этот живописный образ.

«...Вот в этот грозовой ливень летнего теплого дождя я — как королева. Стою и беру красную смородину, а корзина большая-большая, да еще и дедушкин березовый туес взяла... И красную вот этой всей окружающей природой и ее дарами, а сердцу от этого всего радостно. Хочется петь, кричать во весь голос, что я и делаю... Все прогремело, прошумело, а я стою мокрая до нитки, сама горячая, даже пар идет, тут же солнышко снова светит, и с земли идет такое возгорание...»

«Возгорание!» Дорого заплатит любой литератор за эту единым словом явленную картину омытых дождем, вспыхивающих в солнечном свете листьев и трав. Уж не поэт ли ты, девочка?

«...Я добираю ягоды в корзину уже горой, под ручку, а ягода еще сочнее стала, вся мытая, ни соринки, крупная, бордовая, в самой зрелости... Я была не королева, а принцесса на красной ягоде-смородинке...»

В 1937 году в Чебулинском колхозе создается животноводческая ферма, туда уходит работать и наша «принцесса». Восемнадцать лет она стахановка, на районном слете появились комсомолке Ирине Анущенко красную косынку. Осенью отправили учиться в годичную школу зоотехников. Вернулась с дипломом отличницы. Всю войну работала зоотех-

ником и фельдшером, обслуживая десять сел. В 1946-м ей пришлось заменить восьмерым братьям и сестрам умершую мать.

После замужества, когда появилась у нее фамилия Еременко, работать Ирине Павловне пришлось в торговле. В буфете, в магазинах. Всего 21 год. В первые послевоенные годы в магазинах очереди, давка. Стоять за прилавком приходилось с 8 до 11. Бывало, развешивает кусковой сахар, десятками килограммов, пока весь не продаст, стершаяся на кончиках пальцев кожа горит, как обожженная, а ноги домой еле идут. Когда в 1970-м ей сделали операцию на обеих ногах и врачи так пугали эти посиневшие, упорно опухающие ноги, она им говорила: «За меня, не волнуйтесь, я красную косынку носила, я крепкая! Я у своих родителей из первого материала кроёная!»

Освоила Ирина Павловна Еременко и третью профессию — профессию бабушки. Шестерых внуков подарили дочь и сын. И вот в тот год, когда она нянчила свою первую «зореньку», Лену, руки ее впервые потянулись к акварельной кисточке. Рисовать Ирина Павловна стала в 57 лет.

II. «ОТКУДА У ТЕБЯ МАСТЕРСТВО?»

*«Ой ты березонька родная,
В лесной стоишь ты тишине,
Шумишь ты, косы наклоняя,
Листву зеленую свою,
Под осень платье надеваешь
В цвет медный, жара и огня...»*

Если бы Ирина Павловна не рисовала, побдных строк у нее в тетрадках было бы куда больше. У строку ли, в рисунок ли просилось выйти из души на белый свет то, что было похоже и на песню, и на музыку без слов. То, что годами собиралось, копилось. Так родниковая водица копится под землей, прежде чем пробьет себе путь. Так семья таит в себе до весны будущее растение.

«Какая там весна! — сказала бы Ирина Павловна. — Осень моя наступила, 65 мне исполнилось, когда решила я показать рисунки людям на выставке».

И все-таки это была весна, вторая молодость, та, что в каждом живет до смерти, всегда ли только заговорит...

Случилось это в Мангышлаке, в 1976-м, куда поехала Ирина Павловна вместе с семьей дочери-актрисы. Сухая, в трещинах, кричащая от зноя прикаспийская земля ей, выросшей в тайге, была тяжелым зрелищем. «Что же, думаю, я сделала? Зачем из родимого гнездышка выпорхнула?»

Замучили сны и воспоминания о кедрах-березах, о некошенных травах-цветах, о горé,

похожей на купол, о прозрачных розовых туманах, о густых закатах, о мягких насыщенных водой облаках, о ручьях, о реке, о снегах-дождях, питающих могучую силу таежных корней.

И все это непонятным образом — этому ее не учили — переселялось из воспоминаний и снов на листы альбома. Только цветы на бумаге были еще нарядней, петух выглядел сказочной птицей, сосны, кедры и березы казались фантастическими богатырями, поднимающими к небу тысячи ветвящихся рук, и было видно, как под землей шевелятся, отыскивая пищу и воду, живые пальцы корней.

Пожалуй, грустных воспоминаний ее руки не пропускали в рисунок или, может быть, возраст зрелости, в который вступила наша художница, с оптимистической мудростью прозревал гармонию природы, ее материнское единоначалие. В рисунках родники роднились с растениями, точно голубая трава на глазах вырастала из земли. Озеро напоминало очертаниями летящего лебедя. Куст был одновременно и кустом и телом оленя. В корнях проглядывали силуэты допотопных ящеров. Кое-где эти родившиеся из корней звериные фигурки выползали на зеленую поляну.

Творчество многоликой природы... Ирина Павловна видела его глазами философа. Как если бы прозреть в зерне сердце вскормленного хлебом человека. Как если бы взглянуть на жизнь взглядом глядящей на свои творения изнутри себя художницы-природы, что радуется восходя травинкой, печалится роняющей лист березой, кричит подстреленным зайцем, плачет человеческой слезой.

«Откуда, мама, в тебе это мастерство?» — спрашивал сын. Она не знала.

«Может быть, племянник-художник помог?» — поинтересовалась я.

«Нет, что вы! Я попросила Юру показать, как нужно правильно держать кисточку, а он говорит: «Я сам у вас должен учиться». «Как же это у вас получается?» Ирина Павловна только плечами пожимает, улыбается.

III. ПОРТРЕТЫ ДЕРЕВЬЕВ?

В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в эпизоде встречи Иешуа с Пилатом пленник Иешуа произносит столь привычные для него, гуманиста, слова «добрый человек», и римский наместник Пилат велит жестоко избить его. Опасен человек, который считает людей добрыми от рождения.

На страницах романа «Плаха» сегодняшние нравственные уроды убивают человека, единственное оружие которого — доброта.

Может ли тот, кого мы называем художником, быть недобрым? И возвращаемся к Пу-

шкину: «...Гений и злодейство — две вещи несовместные...»

Познавать корни добра и зла Ирине Павловне приходилось не по книгам, прекрасными учителями были дед, отец и мать. Добро — это труд, добро — справедливость, добро — человечность. Эти понятия усвоены с детства. «Девочки, — учила затем она сама молоденьких продавщиц, — деньги — это бумажки, тьфу! Золото — вы сами...» Она знала, что, поверив в свою доброту, они не поднимут руки на собственность, им не принадлежащую.

Рисовать людей Ирина Павловна не умеет, не хочет, хотя картины, как живые, порой стоят в глазах. Вот сидит, постелив на снег еловые ветки, заблудившийся в метель тринадцатилетний охотник, ее братишка Костя... Вот мама с малышом, который спит у нее в платке, повязанном через плечо, застыла на дороге, которую переходит медведица с медвежатами... Вот впервые пошел собственными ножками сынок, первую песенку спела дочь...

Когда она рисует деревья, она их чувствует родными, и само собой получилось, что рисунки — подарки детям и внукам ко дню их рождения, стали как бы портретами тех, кому она их дарила. Веселая, яркая сосна с соснятами. Может быть, это дочь и ее четверо детей? «Дуб-зарница» — пожелание сыну: свети людям, сынок. А эта береза, похожая и на сердце и на шлем воина? Наверное, это и есть она сама. Сердцем жить — значит, воевать, добро отстаивать надо.

Здоровье совсем неважное, а много ли это — 65 человеческих лет? Пожалуй, все-таки много. Известно ведь, что дольше живет не тот, кто много прожил, а кто умеет вмещать в минутку — час, в час — сутки, в месяц — год. Такие умельцы встречаются. Многие успевают за свой век.

IV. «ЗВЕНО В ЗВЕНО И ФОРМА В ФОРМУ. МИР ВО ВСЕЙ ЕГО ЖИВОЙ АРХИТЕКТУРЕ...»

А дальше? Вот следующие строки Заболоцкого:

«Орган поющий, море труб, клавиш...
Не умирающий ни в радости, ни в горе».

Любит Ирина Павловна деревья. Как будто сама по себе под ее рукой заплетается в пространстве листва, объемное кружево березовой кроны. Часто ветви голые, сквозь них сияет лазурь, считается закат, оникупаются в молочном тумане. Дубовые листья огромные, каждый во всей своей резной красе. Кропотливо выписывает хвоинки кедровых лап. «Вот здесь, на горе, не знала, как дерево прикрепить, когда корень рисовала, жила каждым его изгибом...» Так она проговорила однаж-

ды. Значит, рисуя, она и деревом становилась, и травинкой, и шишкой кедровой. Оттого и видела все изнутри. Пожалуй, не видела, а слышала, ощущала как некую музыку. Ведь и в этом она нечаянно призналась в тетрадных листах воспоминаний, исписанных все тем же нервным, неровным почерком.

«В 14—17 лет я понимала, чувствовала музыку в период солнечного летнего дня в лесу густом, таежном, в редколесье, на лугу, на поляне, в овраге, везде по-своему отзывается ее мелодия... В тишине все вокруг замерло, воздух настоян на разных травах, цветах... Лес дышит своей таинственностью, только в небольших озерах в такую пору перелет делают косачи, глухари со своими глухарками. Слышно — пробежит заяц, белка карабкается на сосну, кедр, бурундучок с пенка на пенек прыгает, оглядываясь озорными маленькими глазками... И вот особая музыка, мелодия в день, когда мелькает молния, гремит гром и идет сильный, обильный дождь. Молния мелькнула, осветила все вокруг, вспыхнула множеством стрел, и вдруг сильный гром оглушил, и земля под ногами трясется, по горам пошел раскат, затрещала гора, кажется, с места сдвинулась. Гул понесся дальше и дальше, и в это время зашумел сильный дождь. Он создает свою музыку, по-своему на хвойных деревьях, как бы приглушенную мелодию, и на дереве, которое с листьями, особо хлопаящую, быстро скатывающуюся дождинками на цветы, которые растут в лесу около двух кедров, и по лопушистым листьям как бы бьют капли этого дождя с шумом барабана. И достают траву, падая на землю. Особая мелодия, хлопаящая: не успевает земля впитывать воду. В реке, на быстрой струе как бы звон серебра с переливом и плеском мелких капель, мгновенно уносящихся в быстрый поток русла реки со звоном разных колокольчиков...»

Музыкален сам слог написанного рукой Ирины Павловны Еременко. Ритмично-музыкальные живые орнаменты природы в ее пейзажах. И речь у нее плавная, певучая.

В любом из нас есть изначальная музыкальность души. Особенно сильна она у людей, воспитанных природой и деревенским укладом жизни.

Вот во дворе деревенского дома танцует сама с собой, поет сама себе семилетняя Аленка, то кружится, то приседает. И с облаком песней своей разговаривает, и с камешком, зажатым в кулачке.

Вот на склоне лет берет в руки карандаш, чтобы описать вкратце свою биографию, полуграмотный кольчугинский шахтер, участник гражданской войны Семен Ильич Проскаков, и слог его так певуч, эпически величав, что поэт Николай Асеев без единой правки вклю-

чает фрагменты его биографии в стихотворную ткань поэмы как равноправный поэтический текст.

Музыкальность души роднит человека с миром, полным красоты и сложных противоречий. Но однажды заглухнув, музыка души жестоко мстит за себя.

Человек, обдирающий кожу на живом тополе (чтобы сгинуло дерево, не заглядывало в его окна), своими руками уничтожает в себе самом животворный дар связи с землей.

Утратил эту связь и тот, кто думает, что растет он лишь поднимаясь по лестнице служебной карьеры.

Ученые открыли более глубокий смысл явления, которое мы называем для себя музыкой души. Жизнь на земле во всей ее совокупности академик Вернадский назвал «живым веществом планеты», а позже биологи открыли в каждом живом организме его ритмы, биологические часы жизни. Мы живем в колебании ритмов, космических, сезонных, суточных и многих других. Нарушение ритмической природы живого ведет к хаосу, — говорят ученые. Есть удивительная гипотеза формирования. Еще 300 лет назад к ней близко подошел физик и астроном Иоганн Кеплер. Согласно этой гипотезе, любая развивающаяся структура строится информацией, условно говоря, электрических волн, которые, повторяясь через определенные интервалы времени, «прозванивают» все тело организма, как бы лепят их незримой внутренней музыкой. Врачам хорошо известны причины бессонницы и аритмии сердца. Человек выпадает из колебаний ритма, человек болен. Но худшая из болезней — аритмия очерстевшей души: не достучится в нее ни врач, ни человеческое слово, ни голос самой природы.

Зато музыкальную душу услышать легко.

— Когда я смотрю на мамы рисунки, я чувствую в них целебную силу, — говорит сын Ирины Павловны Еременко. Владимир Спиридонович Еременко, преподаватель режиссерского мастерства в институте культуры, однажды стал писать стихи. Первые посвятил маме.

Сосна горит на солнце янтарем.
Деревья с человечими глазами.
Весь мир пронизан внутренним огнем.
Заполнен воздух яркими цветами.

И проникают в душу небеса.
Целебная торжественность в природе.
Все ошутимей в сердце голоса —
Ко мне с картин дух матери нисходит.

Дорогою вечернею идем.
Земля неразделима с небесами.
Сосна горит на солнце янтарем.
Деревья с человечими глазами.

Борис Кобзарь

ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Монолог в очереди

Я писал, что он ест и пьет в банкетном зале. Олевается с черного хода и смотрит суперфильмы в Каннах.

Вы писали, что он купил мягкое кресло. Садится в него и забывает отца и мать, какой век и час.

Они писали, что он летает в Париж. Посмотреть на Бельмондо. Как он ходит, сидит, во что одет.

Я звонил во все ателье мод, перелистал все журналы, но нет таких костюмов и галстуков, какие носит он. Оббегал все библиотеки и книжные магазины. Но нет таких книг, какие имеет он.

Вы говорите, что у него годы, месяцы, дни, часы, минуты разбиты на черную и белую. Белую до еды принимает. Черную — на закуску, для души.

Они знают, что он спит в гараже. «Жигули» обтирает наразном.

Я слышал, что он гвоздя забить не может. Лампочку вкручивает сосед. Телевизор выключает жена. Страницу в книге переворачивает дочь. Плащ и зонтик подает теща. У него все пальцы в перстнях. Зубы исключительно золотые и глотка луженая.

Вы знаете, что он ходит в театр из-за принципа «Жизнь — это театр». Актрисам на сцену бросает розы с Канарских островов.

Все говорят, что если ты его спросишь, кем он работает... А услышав ответ, не дай бог ехидно улыбнешься, то все пропало. Можешь переезжать в другой город — стеклотару он у тебя все равно не примет.

ИДЕАЛ

Я — идеал!

У меня всегда ясное лицо. Слегка румяные щеки. Красивые руки, крепкие ноги, спортивная фигура. Каждый день я меняю костюмы — на меня работает, можно сказать, весь Дом мод.

У меня интеллигентная внешность, спокойный взгляд на все, что происходит вокруг. Потому что все, что происходит, меня не волнует.

Мне не нужна дача у моря, машина с гаражом у дома, телефон с электронной памятью. Я не люблю деньги, не пью ви-

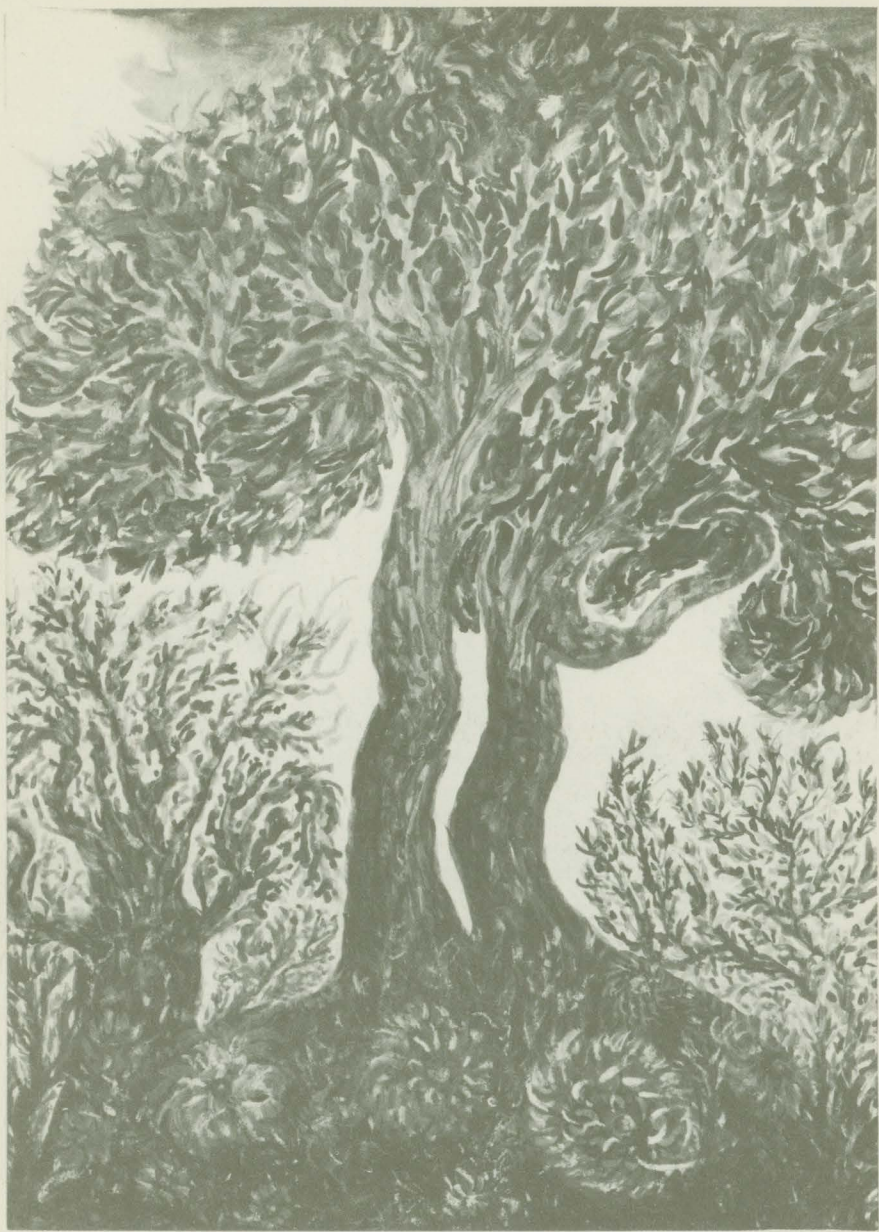
но, не гоняюсь за женщинами. Хотя их мужьям далеко до меня, и они втайне завидуют. Еще бы — всем хотелось бы выглядеть так, как я.

Я — идеал!

Меня часто снимают для кино и телевидения. Мое изображение нередко можно встретить на обложках популярных журналов.

В общем, я прекрасно чувствую себя на своем месте — в витрине магазина готовой одежды...

г. Новокузнецк



И. П. Еременко. Семья (Любовь), 1985 г., бум., акварель
(Очерк о И. П. Еременко — «Корни» — смóтрите в тексте.)

